

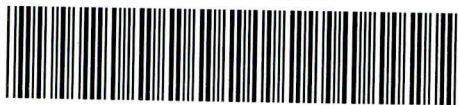
М. ГОРЬКИЙ

ИЗБРАННЫЕ
ЛИТЕРАТУРНО-
КРИТИЧЕСКИЕ
СТАТЬИ



Biblioteka Pedagogiczna CEN

nr inw.: KG - 1115



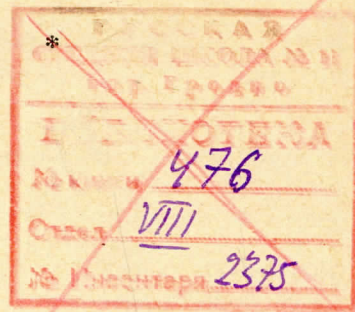
BC KSK / 1115



М. ГОРЬКИЙ

М. ГОРЬКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ЛИТЕРАТУРНО КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА"

Москва 1941

— EX LIBRIS —

Biblioteki Kuratorium O.S.V.
w Białymstoku

1183

882(09)
CENTRALNA BIBLIOTHEKA POLSKA
przy O. S. B.
w Białymstoku

1115

ГОРЬКИЙ О ЛИТЕРАТУРЕ

Гениальный русский писатель М. Горький ознаменовал новую эпоху в художественном развитии всего человечества. Имя Горького неразрывно связано с освободительной борьбой рабочего класса и всего трудового народа.

Высочайшую оценку деятельности Горького дал В. И. Ленин; в статье «Заметки публициста» Ленин писал: «...Горький — безусловно крупнейший представитель пролетарского искусства, который много для него сделал и еще больше может сделать»¹. Насколько высоко Ленин ценил литературный авторитет Горького, говорит тот факт, что он думал организовать в большевистской газете «Пролетарий» постоянный литературно-критический отдел и поручить руководство этим отделом Горькому. Ленин писал по этому поводу в начале 1908 года А. В. Луначарскому: «Ваш проект беллетристического отдела в «Пролетарии» и поручения его А. М-чу превосходен и меня чрезвычайно радует. Я именно мечтал о том, чтобы литературно-критический отдел сделать в «Пролетарии» постоянным и поручить его А. М-чу»².

¹ Соч., т. XIV, стр. 298.

² Соч., т. XXVIII, стр. 521.

Горький — автор большого количества литературно-критических работ. В них выражены величайшие литературно-исторические познания Горького, его огромный художественный опыт.

Формы критических высказываний Горького крайне разнообразны: литературные портреты, критические фельетоны, статьи, записи лекций по истории литературы и др.

Первые заметки Горького о литературе были напечатаны в «Самарской газете» в 1895 году.

В 1896 году Горький начинает сотрудничать в «Нижегородском листке». Здесь он помещает ряд литературно-критических статей. Общее направление их наиболее полно и ярко выражено в высказываниях о произведениях Чехова.

В письме к Чехову в ноябре 1898 года Горький говорит о чеховском таланте как о «духе чистом и ясном, но опутанном узами земли — подлыми узами будничной жизни — и потому он тоскует»¹. Эта «опутанность узами будничной жизни» чужда Горькому.

«Право же, — пишет он в другом письме к Чехову, — настало время нужды в героическом (разрядка моя), все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее»². Рассказы Чехова, по его мнению, делают огромное дело, возбуждая в людях отвращение к сонной, полумертвой жизни русского мещанства. Но Чехов не видел новых реальных путей общественного преобразования. В отличие от него Горький, связавший свою жизнь с революционной борьбой пролетариата, знал эти новые пути. О задачах литературы он писал в «Рассказе»: «Литература есть трибуна для всякого человека,

имеющего в сердце горячее желание поведать людям о перестройке жизни и о страданиях человеческих, о том, что надо увенчать человека, и о необходимости для всех людей свободы, свободы, свободы!»¹

Горький и его творчество росли вместе с рабочим революционным движением. Новые мысли и чувства требовали новых художественных средств. Продолжая лучшие традиции русского классического реализма, Горький в своих критических статьях 90-х и начала 900-х годов защищает ту же литературно-художественную программу, которую он воплотил на практике в «Песне о Буревестнике», «Челкаше» и других ранних произведениях.

Эпоха, в которую выступил Горький, обстановка 90-х и начала 900-х годов, требовала героического, поднимающего человека над повседневностью обывательской жизни, которую буржуазные писатели возводили в идеал существования или считали непреодолимой. Своими великими произведениями и критическими статьями Горький мощно отозвался на новые требования жизни, стал художественным выразителем идей социалистической революции. Горьковское сочетание героического, романтического элемента с реалистическим показом действительности было новым в русской литературе.

Общественный подъем 1905 года знаменуется расцветом художественной, критической и публицистической деятельности Горького. В 1906 году Горький был вынужден уехать за границу. Там он пишет свои очерки истории русской литературы и ряд критико-публицистических статей: «Разрушение личности», «О цинизме» (1908), «О современности» (1912), «Издалека» (1912) и другие.

После поражения революции 1905 года наступила

¹ М. Горький, Материалы и исследования, изд. Академия наук СССР, 1936 г., т. II, стр. 139.

² Там же, стр. 186.

¹ «Северный курьер», 15 ноября 1899 г.

эпоха реакции. Как мародеры в «ночь после битвы», по меткому выражению В. Воровского, оживились различные реакционные, упадочные и хулиганствующие литературные течения. Разновидности мистицизма, беспредметного эстетства и различных антиреволюционных учений начинают пользоваться популярностью в неустойчивой интеллигентской среде. Последовательность и революционность литературно-критических взглядов Горького, его неразрывная связанность с борьбой рабочего класса сказались и в эти годы. Недаром критико-публицистические высказывания Горького этого периода вызвали такой озлобленный вой в лагере реакционеров: буржуазный критик Д. Философов пишет статью «Гибель Горького», причину которой видит в связи писателя с большевиками.

Горький раскрывает реакционность писателей типа Арцыбашева, Г. Емельяненко, Ф. Сологуба, Бердяева и т. д. Особый интерес представляет его статья этого времени «Разрушение личности». Она направлена против упадочных реакционных течений в литературе. В ней развернута поставлена проблема народности искусства и литературы. Народ — творец всех богатств искусства и культуры: «...он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных»¹, создавший и создающий все великие творения искусства и литературы.

Горький показывает жизненные корни творчества великих писателей, их связь с народом. Мысль Горького о народности искусства не была простой экскурсией в область истории искусства. Нет. Она противостояла реакционному индивидуализму писателей буржуазии, она подсекала корни индивидуалистических теорий в искусстве, лишала их почвы, показывала их ничтожество и

потому была полемической, острой публицистической мыслью: искусство только тогда велико, когда оно выражает освободительные стремления народа, его стремление к лучшей жизни, то есть самое главное в человеческой истории.

Гений, — утверждает Горький, — всегда сын своего народа. «Мильтон и Данте, Мицкевич, Гёте и Шиллер возносились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо разнообразной, сильной и мудрой»¹.

Горький противопоставляет величие классической литературы бескрылости, узости и крохоборству реакционной индивидуалистической литературы, где линия духовно нищих людей «обидно и позорно завершается Саниным Арцыбашева»².

В статьях «О цинизме», «О современности», «Изда-лека» Горький с огромной силой обрушивается на идейное и моральное разложение буржуазного общества, на общественный цинизм, ставший одно время в буржуазно-интеллигентских кругах «модным» умонастроением, породившим волну порнографической литературы. Многоликий собирательный образ циника нарисован писателем в статье «О цинизме» с величайшим мастерством и гневной искренностью художника. Статья «О цинизме» — в равной степени и критическая статья, и публицистический памфлет.

«Необходима проповедь бодрости, — призывает Горький, — необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание, необходим возврат к источнику энергии — к демократии, к народу, к общественности и к науке» («О Карамазовщине») ³.

¹ М. Горький. Литературно-критические статьи, 1937 г., стр. 26.

¹ Литературно-критические статьи, стр. 32

² Там же, стр. 43.

³ Там же, стр. 153.

В 1907 году Горький задумал написать «Историю литературы для народа». Сохранилась черновая рукопись этой незаконченной историко-литературной работы. Особенности подхода Горького к истории русской классической литературы ярко выражены в его статье о Пушкине.

Начиная с 90-х годов и до последних лет жизни Горький в своих критических статьях пропагандирует творчество Пушкина — великого русского поэта, — настойчиво разъясняя огромное значение пушкинских произведений для людей нашей страны и всего человечества.

После Белинского, Чернышевского и Добролюбова пушкиноведение резко деградировало. Либерально-буржуазные историки литературы отрицали народность творчества Пушкина. Достаточно вспомнить работы Анненкова, Дружинина, Иванова-Разумника, Скабичевского и т. д. Огромной заслугой М. Горького является то, что он восстановил и развил в своих замечаниях о Пушкине лучшие традиции критики Белинского, Чернышевского и Добролюбова, указал пути правильного понимания пушкинской поэзии, ее социального идейного смысла.

Огромное историческое значение гениального поэта Горький видит в том, что он первый в России возвел литературу в достоинство общенационального дела, сделал ее общественно значимой. «До Пушкина, — замечает Горький, — литература — светская забава, литератор — в лучшем случае — придворный, как Дмитриев, Державин, Жуковский, или мелкий чиновник — как фон Визин, Пнин, Рылеев. Если он придворный — с ним считаются, но куда он чиновник — его третируют как забавника, как шута».

В своей статье «О Пушкине» Горький прекрасно показал то главное, что отличало поэзию Пушкина от стихов других современных ему поэтов. А. С. Пушкин

поднялся до высочайшего реализма, силы, широты и правдивости художественных обобщений, которые доступны только гению. «Пушкин — мастер, — говорит Горький, — он превосходно знает свое орудие, свой материал, он обладает способностью широких обобщений. Онегин как тип только сложился в 20-х годах, но поэт тотчас же рассмотрел эту психику, изучил ее, понял и написал первый русский реалистический роман — роман, который помимо неуязвимой его красоты имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг». Эта конкретная характеристика ясно раскрывает основные черты реализма пушкинских произведений, историческую заслугу Пушкина в создании новой русской литературы.

Высказывания Горького о классиках русской литературы соответствуют его взглядам на общие вопросы литературной теории.

Первооснова всего — труд, неоднократно повторяет Горький: «Всё, что создано на земле, — вся культура создана и выработана трудом людей»¹. Все великое в литературе сделано личностью, тесно связанной с народом.

В своих статьях о литературе Горький создал стройную теорию социалистического реализма. Показав новое в литературе социалистического реализма, он дал блестящий анализ старого классического реализма и определил его огромное художественное и познавательное значение для современного человека. Горький показал, что наибольшую ценность из литературного наследия прошлого представляют реалистические произведения, проникнутые критическим отношением к действительности. Все значительные произведения мировой литературы, по мнению Горького, пронизаны отрицанием устоев классового общества.

¹ Литературно-критические статьи, стр. 667.

Крупнейшие писатели-реалисты XIX века, как правило, были критическими реалистами. „Только второстепенные писатели, — писал Горький, — безоговорочно принимали феодальные и капиталистические порядки. Отношение писателей к социальной действительности было главным принципом группировки писателей в истории мировой литературы». «В буржуазной литературе Запада, — говорил Горький, — тоже необходимо различать две группы авторов: одна восхваляла и забавляла свой класс — Тrollop, Вильки Коллинз, Бреддан, Марриэт, Джером, Поль де Кок, Поль Феваль, Октав Фейлье, Онэ, Георг Самаров, Юлиус Штинде и — сотни подобных.

Всё это — типичные «добрые буржуа», мало талантливые, но ловкие и пошловатые, как их читатели. Другая группа исчисляется немногими десятками, и это — крупнейшие творцы критического реализма и революционного романтизма¹.

Это свое положение о двух основных группах писателей в истории литературы Горький иллюстрирует и на примере русской литературы. Развивая свою мысль об упадке художественной культуры в буржуазном обществе, он указывает в докладе на съезде писателей, что «как и на Западе — наша литература развивалась по двум линиям: линия критического реализма — Фон визин, Грибоедов, Гоголь и т. д. до Чехова, Бунина, и линия чисто мещанской литературы — Булгарин, Мас-сальский, Зотов, Голицынский, Вонлярский, Всеволод Крестовский, Всеволод Соловьев — до Лейкина и Аверченко и подобных².

Критический реализм — это высшая форма реализма XIX века. «Реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни³. Так

определяет Горький реализм в статье «О том, как я учился писать». Реализм критический — это реализм писателей, которые видели деление общества на классы и умели «изображать, обличать грязный, циничный, отвратительный порядок жизни, основанной на беспощадном угнетении людей хищниками и паразитами» («О действительности»)¹.

Горький считал, что крупнейшие творцы критического реализма и революционного романтизма — «все они отщепенцы, «блудные дети» своего класса... Книги этой группы европейских литераторов имеют для нас двойную и неоспоримую ценность: во-первых, как технически образцовые произведения литературы, во-вторых, как документы, объясняющие процессы развития и разложения буржуазии, документы, созданные отщепенцами этого класса, но освещающие его быт, традиции и деяния критически².

Подлинные художники никогда не стояли на стороне корыстных групповых интересов. Талантливые и честные литераторы, они умели наблюдать и воплощать в художественных образах противоречия современной им жизни, а самое главное — обличать пороки эксплуататорского, хищнического общества. За это, за беспощадную критику угнетателей народа, Горький особенно высоко ценил критический реализм; он считал произведения классиков критического реализма сильнейшим орудием в руках борющегося народа. Протестуя против равнодушия писателей к действительности, Горький указывал на величайшее общественное значение деятельности классиков мировой литературы: «Свифт, Рабле, Вольтер, Лессинг, Байрон, Теккерей, Гейне, Верхарн, Анатолий Франс — и немало других — все это были безукоризненно правдивые и суровые обличители пороков

¹ Литературно-критические статьи, стр. 641—642.

² Там же, стр. 642.

³ Там же, стр. 329.

¹ Литературно-критические статьи, стр. 465.

² Там же, стр. 642.

командующего класса; у нас в прошлом — Грибоедов, Гоголь, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин и несравненный ни с кем Александр Пушкин, человек совершенно изумительного таланта. Современная литература не богата столь крупными талантами, но она в массе своей продолжает работу критики действительности с неменьшей правдивостью, зоркостью и не менее сурово» («О действительности»).

В плане этой общей оценки классической литературы прошлого построены работы Горького о творчестве Пушкина и Лермонтова, для которых «интересы всей нации были выше интересов одного дворянства» и личный опыт которых «был шире и глубже опыта дворянского класса».

В заметках о Герцене и Щедрина Горький отмечает отличие революционно-демократического реализма от реализма дворянских писателей. Реализм Некрасова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина более последователен в критике крепостничества и самодержавия. Писатели революционной демократии восставали уже против самых основ буржуазно-дворянского общества, и это делает их критический реализм особенно близким Горькому.

Отмечая силу старого критического реализма, Горький вместе с тем указал на его «ахиллесову пятю»: литература критического реализма не смогла указать реальные пути освобождения человечества. «Реализм «блудных детей» буржуазии, — говорит Горький в «Беседах с молодыми», — ...обличая пороки общества, изображая «жизнь и приключения» личности в тисках семейных традиций, религиозных догматов, правовых норм, критический реализм не мог указать человеку выхода из плена»¹.

Искусство свободного социалистического народа, раз-

решившего противоречие между личностью и обществом, идеалом и действительностью, — утверждает Горький, — преодолевает историческую ограниченность критического реализма. Реализм социалистический, наряду с беспощадной и последовательной критикой основ эксплуататорского общества, показывает реальные пути социального освобождения. Из этого исходит учение Горького о новом герое социалистической литературы, представление о ней как о литературе героического эпоса.

Критическая и публицистическая деятельность Горького после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года становится еще более интенсивной и многосторонней. Гигантский опыт социалистической революции обогатил творчество и критические работы писателя. Горький, создавший классические образцы социалистического реализма в художественном творчестве, именно в это время подводит итоги своим теоретическим исканиям. Конкретной разработке проблемы социалистического реализма посвящены не только знаменитый доклад Горького на Первом всесоюзном съезде советских писателей и статья «О социалистическом реализме», но и большинство его других работ о литературе.

Искусство будущего Горький мыслит как сочетание реализма с героической революционной романтикой. Только в творчестве крупнейших художников, полных веры в творческие силы человечества, можно найти сочетание элементов реалистических с романтическими. В этом смысле Горький говорит, что по отношению к таким писателям, как Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь, Чехов, трудно сказать, кто они — романтики или реалисты? «Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая всё более

¹ Литературно-критические статьи, стр. 591.

заметно и глубоко влияет на литературу всего мира» («О том, как я учился писать») ¹.

Реализм и романтизм — два основных направления в истории мировой литературы. Если реализм Горький определил четкой и краткой формулой, то в отношении романтизма он этого не делает. «Реализмом, — пишет он, — именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни. Формул романтизма дано несколько, но точной, совершенно исчерпывающей формулы, с которой согласились бы все историки литературы, пока еще нет, она не выработана». Горький подробно исследует вопрос о романтизме. Романтизм был одной из ступеней в развитии мирового искусства. Основная историческая заслуга романтизма — это утверждение в литературе прав человека. Основным объектом поэтического изображения становятся человеческие переживания... «Романтизм, — пишет Горький, — не есть стройная теория отношения человека к миру, он не теория литературного творчества, — все попытки определить его как теорию более или менее неясны и безуспешны. Романтизм как настроение, суть сложное и всегда более или менее неясное отражение всех оттенков, чувствований и настроений, охватывающих общество в переходные эпохи, но его основная нота — ожидание чего-то нового, тревога пред новым, торопливое, нервное стремление познать это новое» ².

Мировая художественная литература романтизма чрезвычайно богата. Горький обращает особенное внимание на резкую дифференцированность лагеря романтиков. Он различает в романтизме два основных, резко различных направления: пассивный, индивидуалистический романтизм и романтизм активный, революционный.

¹ Литературно-критические статьи, стр. 329.

² «Лекции по истории литературы», глава «О романтизме, «народности», Жуковском».

Индивидуалистический романтизм враждебен Горькому. Пассивности и реакционности этого вида романтизма противопоставит активный революционный романтизм, стремящийся «усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее» ¹.

Несмотря на наличие в произведениях крупнейших классиков реализма прошлых веков элементов романтизма, противоречие между реализмом и активным романтизмом было существенной чертой литературы буржуазного общества. Противоречие это отражает конфликт между гуманистическими идеалами художников и буржуазной действительностью. Действительность буржуазного общества враждебна идеалам чуткого гуманного писателя. Анализируя развитие русской литературы XIX века, Горький приходит к заключению, «что в нашей литературе не было и нет еще «романтизма», как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно» ².

Все это ничуть не противоречит указаниям Горького в той же статье о слиянии романтизма и реализма в творчестве великих наших писателей. Речь идет о характере романтизма.

В статье «О пьесах» Горький утверждает: «Наше искусство должно стать выше действительности и возвысить человека над ней, не отрываясь от нее. Это проповедь романтизма. Да, если социальный героизм, если культурно-революционный энтузиазм творчества новых условий жизни, в тех формах, как этот энтузиазм проявляется у нас, — может быть наименован ро-

¹ Литературно-критические статьи, стр. 329.

² Там же, стр. 333—334.

мантизмом. Но, разумеется, этот романтизм недопустимо смешивать с романтизмом Шиллера, Гюго и символистов».

Новая литература социалистического реализма, по мысли Горького, будет проникнута революционным романтизмом, выражающим творческий подъем народа.

Социалистический реализм, по Горькому, имеет своей основой последовательный гуманизм. Новую социалистическую литературу характеризует глубочайшая человечность, знание реальных путей освобождения людей от угнетения. Великие дела, совершаемые людьми социализма, их борьба должны быть главным предметом изображения социалистической литературы. Деятельность людей, борющихся за освобождение человечества, героична. Ей должен соответствовать героический характер новой литературы. Понятие героического у Горького неразрывно связано с исторической борьбой народов СССР. Не случайно черты героичности отличаются произведения самого Горького от произведений других реалистов, его современников: Короленко и Чехова.

Горький следующим образом излагает основы социалистического реализма:

«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью» (Из доклада на первом всесоюзном съезде советских писателей)¹.

М. Горький пришел в литературу, когда в авангарде

¹ Литературно-критические статьи, стр. 658.

революционной борьбы встал рабочий класс. Впервые в истории началось действительно всенародное, последовательно-революционное движение. «Песнь о буре», «Песнь о соколе», «Мать» и другие произведения писателя отражали мысли и думы борющегося авангарда человечества, призывали к борьбе. Новые идейные и эстетические стремления рабочего класса нашли свое выражение в творчестве Горького. Пути художественного воплощения героического Горький находил в слиянии реализма с революционным романтизмом. Стиль социалистической литературы он мыслил как новый стиль, преодолевающий ограниченность старого критического реализма.

Особенности социалистического героического эпоса, характеризующего направление новой литературы, четко определены Горьким в статье «О социалистическом реализме»: «Для того, чтоб ядовитая, каторжная мерзость прошлого была хорошо освещена и понята, — необходимо развить в себе умение смотреть на него с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего. Эта высокая точка зрения должна и будет возбуждать тот гордый, радостный пафос, который придаст нашей литературе новый тон, поможет ей создать новые формы, создаст необходимое нам новое направление — социалистический реализм...»¹.

Включенные в состав настоящего сборника статьи — «О литературе», «А. С. Пушкин», «М. Ю. Лермонтов», «А. И. Герцен», «Т. Г. Шевченко», «И. С. Тургенев», «М. Е. Щедрин» — впервые были опубликованы (в неполном виде) в советских газетах и журналах в 1936—1939 годах. Эти статьи являются частями из большого труда М. Горького — курса лекций по истории русской литературы. Замысел этой работы относится к 1907 году: непосредственно над рукописью Горький работал

¹ Литературно-критические статьи, стр. 555.

в 1908—1909 годах. Тексты указанных выше статей Горького печатаются в данном сборнике по книге — М. Горький „История русской литературы“ Гослитиздат, 1939 г.

Настоящая книга предназначена для учащихся старших классов и преподавателей средней школы. В зависимости от этого и был определен принцип отбора материала из богатейшего литературно-критического наследия Горького. В соответствии с школьными программами по литературе в сборник включены статьи Горького, посвященные крупнейшим русским писателям (Пушкин, Лермонтов, Герцен, Щедрин, А. Толстой, Чехов) и основным вопросам теории литературы (о романтизме, реализме, социалистическом реализме).

1. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВВЕДЕНИЕ. О ЛИТЕРАТУРЕ

Литература — образное выражение идеологии — чувств, мнений, намерений и надежд общественных классов и групп. Она является наиболее чутким и верным отображением междуклассовых отношений; она пользуется для своих целей всем опытом нации, класса, группы, она берет этот опыт и тогда, когда он уже организован в формы религиозные, философские, научные, и сама своими силами старается организовать опыт этот.

Литература — роман, повесть и т. д. — является наиболее распространенным и успешным приемом пропаганды тех или иных идей. Это особенно хорошо понимали французы XVIII века, представители воинствующей против феодализма буржуазии, а особенно такие головы, как Вольтер.

Чем же сильна литература?

Насыщая идеи плотью и кровью, она дает им большую наглядность, большую убедительность, чем философия или наука.

Будучи более читаемой и вследствие живости своей убедительной, чем философия, литература этим самым является и наиболее распростра-

ненным, удобным, простым и победоносным способом пропаганды классовых тенденций.

Там, где классы организованы наиболее прочно и стройно, где классовые традиции вросли глубоко в сознание — там и литература является наиболее сжатой, наиболее насыщенной классовым содержанием.

Диккенс. Бальзак. Но — по самому характеру техники роман всегда объективнее философского трактата: книга философская ставит тезис и тезис этот является прокрустовым ложем для живых фактов, он их усекает, он сжимает их, сглаживает и шлифует так, чтоб они, как кирпич, плотно прилегали один к другому и философская колокольня была б тверда и незыблема. «Существует только человек, все же остальное есть его идеи» — это мертвое грамматическое предложение, это посылка, которую я могу изменить так или иначе. И мы видим, что метафизическая философия, ставя такие посылки, благополучно доказывала их правильность — что, однако, ни на шаг не подвинуло вперед наших знаний о мире и не увеличило знаний человека о себе самом.

Роман тоже, конечно, имеет тенденцию достичь возможно большей убедительности и внутренней стройности, но — для романа мало годных мыслей, грамматически правильных фраз, связанных логикой, — для романа необходимо лицо, необходим человек со всею сложностью психики своей, очень спутанной в нашем обществе, полном противоречий.

Когда писатель делает человека вместилищем одних только пороков или одних лишь добродетелей — мы недовольны этим, нас это не убеждает, ибо мы знаем, что доброе и злое или,

вернее, индивидуальное и социальное, переплетено в психике нашей.

Если б Тургенев наделил Базарова мечтательностью Рудина, человека 40-х годов — мы не поверили бы Тургеневу, ибо это свойство было вне психики разночинца 60-х годов. Если б Арцыбашев сделал Санина рабочим — социал-демократом — мы не поверили бы Арцыбашеву, ибо мы знаем, что социальный индифферентизм не может быть связан с социализмом.

Романист всегда шире своих тенденций потому именно, что для вящей убедительности данной идеи, защищаемой им, он принужден ставить эту идею в круг идей враждебных, и таким образом, хотя и в искаженной форме, но он знакомит нас с тем, что, может быть, и враждебно лично ему.

Возьмем «Воскресение» Толстого.

Рассказать работу над романом.

Итак — роман, являясь могучим и в высшей степени убедительным средством пропаганды классовых тенденций, в то же время заставляет писателя, вопреки его намерениям, отмечать попутно тенденции и факты чуждые и враждебные тем, кои проповедует он сам, как идейный представитель той или иной общественной группы.

Нам, в интересах наших, очень важно отметить этот часто невольный, бессознательный объективизм писателя-художника, нам нужно знать, что в любом романе и рассказе, при внимательном чтении, мы всегда можем найти, несмотря на внешнюю убедительность фактов и характеров, внутреннее, непримиримое противоречие, оправдывающее нашу точку зрения на взаимные отношения общества и личности, мужчины и женщины, на все вопросы внутренней

жизни и экономического быта. Но зная это, мы, однако, должны помнить, что враг наш — хитер, и часто бывает, что его объективизм, ценный для нас, является только ловким прикрытием классовой тенденции.

Форты покрыты дерном — ах, как красив пригорок!

Теперь посмотрим, что такое сам писатель как аппарат, воспринимающий и воспроизводящий факты, чувствования, идеи.

Всякая индивидуальность есть результат социальной группировки. Она всегда как бы выдвигается вперед коллективом — подобно, скажем, щупальцу головоногого. Источник ее психической энергии — всегда коллектив. Чем плотнее сложился коллектив, чем ясней сознает он свои интересы — тем выразительнее характер его слагаемых, ярче личность. Кто является наиболее деятельным и умным лицом современности? Финансист, капиталист Рокфеллер, Ротшильд — представитель наиболее стройно организованного класса. Класс противоборствующий со своей стороны выдвигает в жизнь Дицгенов, Бебелей, а процесс экономического разложения среднебуржуазных групп создает психику декадента.

Рассматривая всякого человека как продукт эпохи, племени, класса, мы, разумеется, под таким же углом должны рассматривать и писателя, допустив, однако, что писатель суть человек более других насыщенный опытом — знанием жизни и в силу давления опыта обладающий способностью облекать впечатления свои в форму образов.

Переполнение вместилища опыта — так называемой души — впечатлениями бытия и убеж-

дает человека организовывать свои наблюдения и чувствования тем более экономно, чем обильнее их запас, а экономнейший способ организации мысли и есть образ.

Чем шире опыт — тем менее в нем места субъективному, личному, тем более властно выступает вперед общезначимое и тем ярче социальный образ художника; чем решительнее отказывается писатель от своей личности, тем легче теряет он мелкое и ничтожное и глубже, шире открывается его восприятию значительное, объективное в окружающем его мире.

Достигая этой высоты, писатель является для нас тем более точным и правдивым свидетелем происходящего в жизни, чем объективнее он рассказывает, как люди думают, как относятся друг к другу, и мы видим, почему иные думы, иные отношения — невозможны, хотя бы сам писатель и проповедывал их.

Возьмем опять Толстого: задача — найти для дворянина достойное его место в жизни. Попутно автору пришлось коснуться всех сторон жизни, впасть в очевидное для нас и поучительное противоречие с основной своей идеей, много раз нарушать ее цельность, наконец, ему, проповеднику пассивного отношения к жизни, пришлось признать и почти оправдать в «Воскресении» активную борьбу.

Богатый опытом писатель всегда противоречив, ибо обилие опыта требует широких организуемых идей, а эти идеи враждебны узким целям групп и классов. Поэтому у каждого русского писателя вы найдете излишек фактов, избыток мыслей, остающихся за пределами его тенденции и противоречащих ей по существу.

Вы найдете эти противоречия даже у писа-

телей Запада, таких, как Диккенс, Бальзак, Золя; я говорю даже, потому что западный литератор — человек более стройной психики, чем писатель русский. Диккенс более тверд в защите воззрений своего класса, чем его ученик Михайлов-Шеллер, и это потому, что в Англии между и внутриклассовые отношения людей сложились прочно, уже приняли характер традиций, а у нас эти отношения лишь только начинают слагаться, но пока еще неясны для писателя нашего.

Русская литература особенно поучительна, особенно ценна широтою своей — нет вопроса, который она не ставила бы и не пыталась разрешить. Это по преимуществу литература вопросов:

Что делать?

Где лучше?

Кто виноват? — спрашивает она.

Наша литература удобно может быть разделена на две линии — дворянскую, которая по силе социальной необходимости проповедывала демократизм, и демократическую — литературу разночинца-интеллигента, который, тоже по необходимости, проповедывал социализм.

И та, и другая линия одинаково исторически ценны для нас, ибо дают нам богатейший материал для суждения о путях русской мысли, о задачах разных общественных групп и, главное, убеждают нас в полном бессилии, в полной невозможности для той или иной группы решить свои задачи без участия широких демократических масс.

Это бессилие сознавалось самими литераторами.

Это же ощущение своей социальной слабости побудило русского писателя обратить внима-

ние на народ, внушило ему идею необходимости пробудить потенциальную энергию народа и превратить ее в активное орудие для завоевания политической власти. Именно это бессилие сделало огромное большинство русских писателей отчаянными демагогами, которые всячески льстили народу, заигрывая то с крестьянством, то с рабочими.

Русская революционная интеллигенция воспитывалась на русской литературе и, как мы увидим позднее, сильно заразилась демагогией.

На этом пока и кончим характеристику литературы, как формы и средства пропаганды, закончив характеристику нашу словами Пушкина, который, назвав литераторов самой мощной и опасной аристократией, воскликнул:

«Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно!»¹

2. А. С. ПУШКИН

По необходимости, объясняемой недостатком времени, я рассказываю вам о литературе в том же порядке, в каком написаны нашими историками литературы книги о ней, т. е. останавливаясь на крупных именах. Прием этот вы не должны признавать правильным: он рисует дело так, как будто все эти Фонвизины, Жуковские, Пушкины и другие величины русской литературы выростали вдруг, являясь какими-то холмами на гладкой равнине. Этот взгляд — неприемлем, он подтверждал бы преувеличенное

¹ Из заметок А. С. Пушкина «Мысли на дороге», глава «Торжок». (Это и последующие примечания даны редакцией.)

мнение романтиков о силах личности и роли ее в истории. Нет, вы должны знать и помнить, что до Фонвизина прошел ряд людей, начиная с А. Кантемира, молдаванина, родившегося в 1709 году и писавшего еще при Петре I, частью отмеченных литературой, частью же забытых ею, что все эти люди были, так сказать, последовательными возвышениями в деле организации накопленного историей опыта, что Фонвизин и Жуковский обобщали уже данное им предшественниками, причем эти обобщения могли быть и бессознательными, т. е. могли почерпаться не из книг, а из быта, уже растворившего в себе собранный в книге опыт.

Личные особенности психики каждого крупного поэта и писателя этим указанием не отрицаются: они налицо пред нами в каждом данном случае: Пушкин шире, умнее, талантливее Жуковского — он талантлив именно потому, что шире, он умнее и талантливее именно потому, что насыщен большим количеством знаний, он мастер стиха, превосходящий в технике своих предшественников, но таков именно потому, что у него были предшественники, отработавшие технику, каждый на свой лад, а Пушкин мог и сумел объединить в себе всю ее новизну и гибкость. Предшественники и современники Пушкина Жуковский, Нелединский-Мелецкий, Веневитинов, Катенин, В. Пушкин — его дядя, кн. Вяземский, кн. Одоевский и целый ряд других поэтов — часто писали стихи по форме почти равные стихам Пушкина.

Но все эти писатели были, так сказать, «любителями поэзии», они старались писать изящно, как французы, поэзия для них была приятной светской забавой; они писали главным

образом послания друг ко другу, слащавые любовности в альбомах светских дам; редко кто-нибудь из них возвышался до небольшой поэмы в романтическом тоне — на сюжет о безнадёжной любви, или о тленности всего земного. Единственным писателем, который касался тем социальных, был Рылеев, декабрист, впоследствии повешенный.....

Мы подошли к декабристам от вопроса: почему среди них оказалось так много литераторов, поэтов?

Из сказанного ясно, что литераторам некуда было идти, кроме как по этой линии, ибо на ней именно расположилась вся культура того времени, все мечты и чаяния честнейших людей страны, совершенно одиноких среди нее, оторванных от ее жизни, измерявших азиатскую Россию мерами европейского Запада.

В стране экономически отсталой и не успевшей принять классовую организацию, в стране, где правительство всячески старалось уединиться от народа и общества и, заботясь о своем самосохранении, о развитии своих сил, развивало только бюрократический административный аппарат, который душил всех с одинаковым усердием, — в этой стране все должны были объединяться на почве оппозиции правительству, и политические вопросы просачивались в души человека извне даже тогда, когда сам он не хотел этого.

Тем более подчинялись политике литераторы, как люди широких обобщений, как наиболее чутко воспринимающие; объективно мыслящий мозг — вот причина, почему русская литература вплоть до наших дней стояла в теснейшей связи с революционными течениями.

И здесь же мы находим объяснение тому факту, что русский литератор — как было сказано — в своих образах и обобщениях шире и объективнее литератора западного, ибо, даже будучи по основам психики своей человеком классовым, он был понуждаем возвышаться над узкими задачами своего класса, был принужден заботиться не столько о выработке классовой идеологии, сколько о борьбе против идей и действий правительства, одинаково враждебных всем классам.

Необходимо было создать что-то, что объединило бы всю массу общества, необходима была борьба с идеологией бюрократии и царей, нужно было выдвинуть против понятия «народность» иное понятие, а для того, чтобы выработать его—требовалось внимательное изучение народа.

Посмотрим это положение на примере Пушкина.

Он — дворянин, он обладает предрассудками аристократа, гордящегося древностью своего имени.

Когда Булгарин, лакей правительства и доносчик, упрекнул Пушкина в том, что предок его со стороны матери негр Ганнибал был куплен Петром в Голландии за бутылку водки, Пушкин ответил:

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские, толпой,
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не ассессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский помещик.

.....

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудренных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, помещик.

Мой предок Рача службой бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV, пощадил.
Водились Пушкины с царями:
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский помещик.

Смирив крамолы и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын.
Бывало, нами дорожили;
Бывало... но я — помещик.

.....

Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил,
Я не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь уgomнил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец.
Я сам большой, я помещик.

Post-scriptum

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин¹.

.

Здесь звучит нечто новое по тем временам — именно: звучит уверенность человека в его праве «читать самого себя» не только по заслугам предков, но за свои личные заслуги перед обществом.

Очень вероятно, что частые указания Пушкина на свое дворянство вызывались следующими причинами:

1. В ту пору Александр, постепенно отдаляя от себя русских, заменял их немцами — во главе государства становились люди с именами

¹ А. С. Пушкин, «Моя родословная или русский мещанин».

Клейнмихель, Адлерберг, Бенкендорф и т. д. По свидетельству Якушкина и других декабристов, это явление тревожило дворян и сливалось с общим оппозиционным настроением молодежи.

Вспомните: они смотрели на себя, как на победителей Европы, а их ставили под команду немцев.

2. Не менее вероятно и то, что лично Пушкин вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы.

Вспомните опять-таки, что Фонвизин показывался перед Екатериной в дерзостях своего пера, что Радищев отрекался от своей книги, Новиков лицемерил на допросах, а Пушкин заявил царю в лицо, что 14-го декабря он, Пушкин, встал бы в ряд с декабристами.

Но — посмотрим, как он сам смотрит на дворянство и зачем оно нужно ему:

У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием; мы не хотим быть покровительствуемы равными — вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. Дьявольская разница!..¹

Рылеев сказал ему:

...Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут

¹ Из письма Пушкина к А. А. Бестужеву (апрель, 1825 года).

вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради бога, Пушкиным! Ты сам по себе молодец¹.

Мне досадно, — отвечает Пушкин, — что Рылеев меня не понимает. В чем дело? Что у нас не покровительствуют литературе и это — славу богу! Зачем же об этом говорить? Напрасно! Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нашей словесности. Чего ж тебе более? Загляни в журналы в течение шести лет, посмотри, сколько раз упоминали о мне, сколько раз меня хвалили поделом и понапрасну, а о нашем приятеле — ни гугу! как будто на свете его не было. Почему это? уж верно не от гордости или радикализма такого-то журналиста — нет! а всякий знает, что хоть он расподличайся — никто ему спасибо не скажет и не даст пяти рублей: так лучше ж даром быть благородным человеком. Ты сердись за то, что я чванюсь 600-летним дворянством (NB — мое дворянство старое). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от сословия писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отседа гордость etc. Не должно русских писателей судить как иностранных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас гр. Хвостов прожился на них. Там есть нечего — так пишешь книгу, а у нас есть нечего — так служи, да не сочиняй. Милый мой — ты поэт и я — поэт, но я сужу более прозаически, и чуть ли от этого не прав. Прощай!²

Это относится к 1825 году. Но в заметках поэта за 1825—1830 годы мы находим такое признание:

¹ Из письма К. Ф. Рылеева Пушкину (май, 1825 года).

² Письмо к К. Ф. Рылееву (май, 1825 года).

Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, соп атоге, но безо всякой дворянской спеси. Из всех моих подражаний Байрону дворянская спесь была самое смешное. Аристократию нашу составляет дворянство новое, древнее же пришло в упадок; его права уравнены с правами прочих сословий, великие имения давно раздроблены, уничтожены, и никто, даже если бы... и проч. Принадлежать к такой аристократии не представляет никакого преимущества в глазах благоразумного человека, и уединенное почитание к славе предков может только навлечь нарекания в страшном бессмыслии или в подражании иностранцам.

Но от кого бы я ни происходил, — от разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, — образ мыслей моих от этого никак бы не зависел. Отказываться от него я ничуть не намерен, хотя нигде доньше я его не обнаруживал, и никому до него дела нет¹.

До Пушкина литература — светская забава; литератор в лучшем случае — придворный, как Дмитриев, Державин, Жуковский, или мелкий чиновник — как Фонвизин, Пнин, Рылеев. Если он придворный — с ним считаются, но покуда он чиновник — его третируют, как забавника, как шута.

Вот как изображает Рылеев положение литератора:

¹ Из набросков предисловия Пушкина к «Борису Годунову».

Опять подчас в прихожей
Надутого вельможи
(Тогда как он покой
На пурпуровом ложе
С прелестницей младой
Вкушает безмятежно,
Ее лобзая нежно),
С растерзанной душой,
С главою преклоненной,
Меж челядью златой,
И чинно и смиренно
Я должен буду ждать
Судьбы своей решения.
От глупого сужденья,
Которое мне дать
Из милости рассудит
Ленивый полу-царь,
Когда его разбудит
В полудни секретарь...

.....
Для пылакого поэта
Как больно, тяжело
В триумфе видеть зло,
И в шумном вихре света
Встречать везде ханжей,
Корнетов-дуэлистов
Поэтов-эгоистов,
Или убийц-судей,
Досужих журналистов,
Которые тогда,
Как вспыхнула война
На Юге за свободу, —
О срам! о времена! —
Поссорились за оду!..¹

¹ К. Ф. Рылеев, из стихотворения «Пушкину».

Николай Полевой, отношение знати к литератору¹.

Пушкин первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности, что она выше работы в канцеляриях и службы во дворце, он первый поднял звание литератора на высоту до него недостижимую: в его глазах поэт — выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни.

В 1819 году, дружа с декабристами, Пушкин пишет на возвращение Александра из-за границы:

Сказки.

Noël.

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот,
Спаситель горько плачет,

¹ Очевидно, что здесь Горький имеет в виду статью известного литератора, современника Пушкина, Н. Полевого, «Утро в кабинете знатного барина». Приведем краткий отрывок из нее:

«Подлецов. Вот листок какой-то печатный; кажется, — стихи вашему сиятельству.

Князь (взглянув). Как? Стихи — мне? А, это — точно стихотворец. Что он врет там?

Подлецов. Да что-то много. Стихотворец хвалит вас, говорит, что вы — мудрец; умеете наслаждаться жизнью, покровительствуете искусствам, ездили в какую-то землю только за тем, чтобы взглянуть на хороших женщин; что вы пили кофе с Вольтером и играли в шашки с каким-то Бомарше...

Князь. Нет? Так он не даром у меня обедал. Как жаль, что по-русски! Недурно, но что-то много, скучно читать. Вели перевести это по-французски и переписать экземпляров пять: я pošлю кое-кому; а стихотворцу скажи, что по четвергам я приглашаю его всегда обедать у себя. Только не слишком вежливо обходишься с ним; ведь эти люди забывчивы, их надобно держать в черном теле...»

А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя страшает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я сшил себе мундир.
О, радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я ел и пил, и обещал —
И делом не измучен.
Узнай еще в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом,
Закон постановлю на место вам Горголи
И людям все права людей
По царской милости моей
Отдам из доброй воли». —
От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «бай, бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть бы, наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки!»

В 1826 году, когда Николай возвратил его из
ссылки, он говорит царю:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд:
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен¹.

Но когда его упрекнули в лести за эти стихи,
он отвечает².

В ноябре 1823 года в Испании был казнен
революционер Риэго Нуньес; сообщая об этом
царю, граф Воронцов сказал: «Какая счастли-
вая новость, ваше величество!»

Пушкин немедленно откликнулся:

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь Риэго был удушен.
«Я очень рад», сказал усердный льстец:
«От одного мерзавца мир избавлен!»
Все смолкнули, все потупили взор:
Всех удивил нежданный приговор.

¹ «Стансы».

² Горький здесь имеет в виду стихотворение Пушкина «Друзьям» («Нет, я не льстец»).

Ряго был, конечно, очень грешен, —
Согласен я, — но он за то повешен;
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться этак нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел своей улыбкой ободрить.
Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить
И в самой подлости оттенок благородства!¹

и заклеил Воронцова таким четверостишием:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, — но есть надежда,
Что будет полным, наконец².

И в том же самом 1825 году, когда он советовал Николаю:

Во всем будь прашуру подобен...

он, присмотревшись к порядкам нового царствования, характеризует его так:

Встарь Голицын мудрость весил,
Гурьев грабил весь народ,
Аракчеев куралесил,
Царь же ездил на развод.
Ныне Ливен мудрость весит,
Царь же вешает народ,
Рыжий Мишка куралесит
И по прежнему развод.

¹ «Ответ графу М. С. Воронцову».

² «На графа М. С. Воронцова».

А в 1827 году посылает в Сибирь друзьям строки, полные надежды:

В Сибирь

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Декабристы устами князя Одоевского ответили ему:

Струн вежих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.

Но будь спокоен, бард: цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет.
Из искры возгорится пламя —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей —
И радостно вздохнут народы¹.

Он дворянин; но когда вышла в свет «История» Карамзина, Пушкин великолепно пригвоздил ее своим стихом:

На плаху истину влача,
Он доказал нам без пристрастья
Необходимость палача
И прелесть самовластья.

Он пишет:

В России нет закона:
В России столб стоит,
К столбу закон прибьет,
А на столбе корона.

Нужно помнить, что за каждое из таких стихотворений в ту пору можно было получить казнь, ссылку, тюрьму.

По отношению к правительству Пушкин вел себя совершенно открыто: когда до двора дошли его ода «Вольность», его эпиграммы на министров и царя и когда узнали, что он показывал в театре портрет Лувеля, убившего

¹ А. Одоевский, «Ответ Пушкину».

герцога Беррийского, — гр. Милорадович вызвал его к себе, а в квартире велел сделать обыск.

«Обыск не нужен, — заявил Пушкин, — я уже все, что надо было, сжег». И тут же написал на память все свои противоправительственные стихи. Только благодаря Карамзину и другим вельможам это кончилось для Пушкина высылкой из Петербурга, — Александр I предполагал сослать поэта в Сибирь или Соловки.

Теперь рассмотрим обвинение Пушкина в презрительном отношении к «черни». Как известно, на основании этого отношения наши реакционеры зачисляли Пушкина в свои ряды, а наши радикалы, вроде Писарева, отрицали за поэтом всякое значение.

Прежде всего надо знать, что презрительное отношение к «черни» было свойственно всем романтикам, начиная с Байрона, — это был один из лозунгов литературной школы.

Признавалось, как вы знаете, что поэт — существо высшего порядка, абсолютно свободное, стоящее вне законов человеческих. С этой точки зрения, разумеется, и общество, и государство, и народ резко отрицались, как только они предъявляли к поэту какие-либо социальные требования.

Наши писатели до-пушкинской эпохи тоже были заражены этим взглядом: так например Державин говорил:

Умей презреть и ты златую,
Злословну, площадную чернь...¹

¹ Державин, «Капнисту».

Он же:

Умолкни, чернь непросвещенна,
Слепые света мудрецы!..¹

Он же:

Прочь, буйна чернь, непросвещенна,
И презираемая мной!..²

Дмитриев:

Будь равнодушен к осуждёнью
Толпы зоилов и глупцов...³

Жуковский:

Не слушай вопли черни дикой...

Можно привести еще десяток таких выкриков, но я вообще сомневаюсь в том, что эти выкрики относятся к народной толпе, к народу.

Причины сомнения следующие: поэты до Пушкина совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нем. Это придворные люди, вельможи, они всю жизнь проводили в столице и даже свои деревни посещали очень редко и на краткий срок. Когда же они изображали в своих стихах мужика, деревню — они рисовали людей кротких, верующих, послушных барину, любящих его, добродушно подчинявшихся рабству; деревенская жизнь рисовалась ими, как сплошной праздник, как мирная поэзия труда. О Разине, Пу-

¹ Державин, «Бессмертие души».

² Его же, «О удовольствии».

³ Дмитриев, «Подражание Горацию».

гачеве не вспоминали, это не сливалось с установленным представлением о деревне, о мужике.

Пушкин тоже начал с романтизма; вот как он определяет свою позицию поэта:

Поэту

Поэт! не дорожи любовью народной:
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценишь умешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Из Пиндемонти

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова¹.

¹ Hamlet [«Гамлет». Примечание А. С. Пушкина].

Иные, лучшие мне дороги права,
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливрен
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья
— Вот счастье! вот права.

Наконец, у него есть еще более резкое определение своего отношения к «черни».

Но — кто эта чернь? Подразумевал ли под нею Пушкин именно народ?

Рассмотрим этот вопрос.

Прежде всего Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая в угоду государственной идее «народности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов. Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными смысл и силу.

Возьмите сказку «О попе и работнике Балде», «О золотом петушке», «О царе Салтане» и т. д. Во всех этих сказках насмешливое, отрицательное отношение народа к попам и царям Пушкин не скрыл, не затушевал, а, напротив, оттенил еще более резко.

Он перевел с сербского несколько народных легенд из сборника Караджича; когда вышли подделанные французским писателем Проспером Мериме «Песни западных славян» — Пушкин

немедленно переводит их на русский язык. Он записывал во время своих путешествий сказки и песни и более 50 штук передал Киреевскому для его знаменитого сборника. Он собрал целый цикл песен о Стеньке Разине, которого называл «единственным поэтическим лицом в России»¹ — заметьте, что Разин по своим намерениям и по духу был несравнимо демократичнее Пугача, с грустью осмеянного Пушкиным.

Бенкендорф сказал Пушкину: «Песни о Стеньке Разине при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Пушкин непосредственно сталкивался с народом, расспрашивал мужиков о жизни и — вот какие записи делал в своих путевых тетрадах:

Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своих орудиям, ни воли, ни побуждений не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего вска воинам, управляемым грудю, устремляющимся на бой грудю, а в единственности ничего не значущим. Для достижения своей цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им, на необходимое пропитание, дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто — всех крестьян, жен их и детей заставлял во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по

¹ Из письма к брату Льву Сергеевичу Пушкину (октябрь, 1824 год).

обыкновенно Лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя для соблюдения желудка в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные разговенья бывали разве на святой недели.

Таковым урядником производилась также приличная и соразмерная одежда. Обувь для зимы, т. е. лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего, а летом ходили босы. Следственно у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволения держать их господин не отымал, но способ к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда брал к себе, платя за них цену по своей воле.

Сделавшись помещиком 2 000 душ, он нашел своих крестьян, как говорится, избалованными слабым и беспечным своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности: он пахал барскою сохою, запряженной барской клячею; скот его был весь продан; он садился за спартанскую трапезу на барском дворе; дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавались ему от господина, словом...¹

Пушкин знал жизнь крестьян: возьмите из «Хроники села Горюхина» отрывок «Правление приказчика» — это типичнейшая для того времени картина разорения деревни.

А вот деревенская картинка, написанная как будто Некрасовым:

¹ Из статьи Пушкина «Александр Радищев».

Октябрь 1830. Болдино.

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной Музой,
Подика ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? Где темные леса,
Где речка? На дворе у низкого забора
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед,
Без шапки он; несет подмышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил,
Скорей! ждаль некогогда! давно б уж схоронил.

Он собирал песни и в Одессе, и в Кишиневе, и в Псковской губернии — для чего переодевался в платье мещанина и, изучая народную жизнь, народную речь, ругает свое воспитание «поганым и проклятым». Он учится русскому языку у Крылова, еще больше у своей няньки и всегда у ямщиков, торговков, в трактирах, на постоялых дворах, у солдат.

«Объят тоской за чашей ликованья», он бросает жизнь столицы и едет в деревню «насладиться простотой речи и ума народного игрою».

Этот человек не мог под именем «черни» подразумевать народ — его он уважал и о силе его догадывался чутьем,

Кто же та чернь, о которой поэт говорит с таким отвращением?

Несомненно, что под именем черни он подра- зумевал то светское, столичное общество, в ко- тором жил. Посмотрим, как он характеризует это общество, и не сольются ли эти характери- стики с отношением Пушкина к черни?

Говоря о светском обществе, он восклицает:

Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья

Далее

.....
К доброжелательству досель я не привык —
И странным мне его приветливый язык.
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагодарно кивает головой.
Постигнет ли певца внезапное волнение,
Утрата скорбная, изгнание, заточенье, —
«Тем лучше», говорят любители искусств:
«Тем лучше наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастье поэта
Меж ими не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...

А еще: Алеко, в поэме «Цыганы», говорит
своему сыну:

Расти на воле без уроков,
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.

Изображение светского общества в «Онеги- не» достаточно известно — я не буду его по- вторять.

«Какой это ужас родиться в России талант- ливым человеком!» сказал он однажды и мно- го раз пришлось ему повторить эту горькую и верную фразу.

Пока Пушкин шел тропой романтизма, про- топтанной до него, пока он подражал францу- зам, Байрону, Батюшкову, Жуковскому, — об- щество, замечая его удивительный талант, це- ня музыку нового стиха, одобряло поэта.

Но как только он встал на свои ноги и за- говорил чистым русским, народным языком, начал вводить в литературу народные мотивы, обыденную жизнь, стал изображать жизнь ре- ально, просто и верно, — общество стало от- носиться к нему насмешливо и враждебно, чув- ствуя в нем строгого судью, беспристрастного свидетеля русской пошлости, невежества и рабства, жестокости и холопства пред силою власти.

Про него говорили, что ссылка в Сибирь за- менена ему ссылкой в Одессу потому, что он позволил себя высечь. В Одессе его травили, рассматривая как ссыльного, мелкого чиновника и не считаясь с его дарованием. Он озлоблялся и был вынужден «противопоставлять табели о рангах то демократическую гордость таланта и ума, то свое 600-летнее дворянство».

В семье к нему относились подозрительно и

грубо: отец даже однажды обвинил поэта в покушении на убийство, что грозило каторгой.

Его травил Булгарин, искажала цензура, Бенкендорф преследовал выговорами. — Стихотворения «Моя родословная», «На выздоровление Лукулла» и насмешливые четверостишия вызвали, наконец, непримиримую злобу к поэту; ловкие люди искусно раздували общее недоброжелательство к нему, наконец, против него была пущена в ход клевета и — вскоре его застрелили.

Его судьба совершенно совпадает с судьбою всякого крупного человека, волею истории поставленного в необходимость жить среди людей мелких, пошлых и своекорыстных. Вспомните, что говорилось здесь о Леонардо да Винчи и Микель-Анджело.

Пушкин для русской литературы такая же величина, как Леонардо для европейского искусства.

Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными, унаследованными качествами, — все дворянское, все временное — это не наше, это чуждо и не нужно нам.

Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону — именно тогда пред нами и встанет великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», автор лучшей нашей исторической драмы «Борис Годунов», поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы.

Повторим еще раз его самохарактеристики —

они поучительны как взгляд поэта на задачи его в жизни».

«Эхо»

«Пророк»

«Памятник»¹

Что же дает Пушкин читателю пролетарию? Во-первых — на примере его творчества мы видим, что писатель, богатый знанием жизни, так сказать, перегруженный опытом, в своих художественных обобщениях выходит из рамок классовой психики, возвышается над тенденциями класса — и объективно рисует нам этот класс с внешней стороны как неудачную и нестройную организацию части исторического опыта, с внутренней — как психику своекорыстную, полную непримиримых противоречий.

Чисто и резко классовый писатель стремится представить свой класс владыкой и собственником неоспоримых социальных истин, которые для всей массы народа имеют обязательное значение, для всех являются догматами, требующими безусловного подчинения им; такой писатель изображает идеи, чувство и верования своего класса как единственно правильное, полное и верное отражение всех сторон жизни — всего опыта человечества.

Несомненно, что Пушкин — дворянин, он сам одно время кичился этим, но нам важно знать, что уже в юности своей он почувствовал тесноту и духоту дворянских традиций, понял интел-

¹ Горький ссылается на стихотворения «Эхо», «Пророк», «Памятник», в которых выражены взгляды Пушкина на общественное значение поэта.

лектуальную нищету своего класса, его культурную слабость и отразил все это, всю жизнь дворянства, все его пороки и слабости с поразительной верностью.

В примере Пушкина мы имеем писателя, который, будучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в стихах и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реализмом, чего и достигал с гениальным умением.

Его произведения — драгоценное свидетельство умного, знающего и правдивого человека о правах, обычаях, понятиях известной эпохи; все они суть гениальные иллюстрации к русской истории.

Писатель классовый, группируя свои наблюдения по шаблону интересов своего класса, говорит нам: — Вот истина, извлеченная мною из наблюдений над жизнью человеческой, — иной истины нет, не может быть!

Это превращение тенденции одного класса в догмат, обязательный для всех других, это — проповедь необходимости подчинения всей массы народа моральным и правовым нормам, выгодным только командующей силе. Здесь искусство приносится в жертву интересам воинствующей политики, низводится до орудия борьбы и — не убеждает нас, ибо мы видим или чувствуем в нем внутреннюю фальшь.

«...От кого бы я ни происходил, — говорит Пушкин, — ...образ мыслей моих от этого никак бы не зависел...»

Это слова человека, который чувствовал, что для него интересы всей нации выше интересов одного дворянства, а говорил он так потому, что его личный опыт был шире и глубже опыта дворянского класса.

Эстетическое значение поэзии Пушкина не стану доказывать, это потребовало бы сравнений стихов его со стихами лучших писателей наших дней, исследований языка со стороны богатства слов, простоты, меткости и т. д.

Вы слышали его стихи в моем плохом чтении, вы знали их и до сего дня, вы знаете, что никто из современных поэтов не может, не способен написать такого великолепного гимна радости, как «Вакхическая песня» Пушкина.

Что смолкнул веселия глас?

Раздайтесь, вакхальны припевы!

Да здравствуют нежные девы

И юные жены, любившие нас!

Полнее стакан наливайте!

На звонкое дно

В густое вино

Заветные кольца бросайте!

Подыдем стаканы, содвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Ты, солнце святое, гори!

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

В 1822 году появляются в русской литературе стихи Слепушкина — это ярославский крестьянин, рабочий на мельнице, торговец пареной грушей, затем — лавочник и самоучка, поэт и живописец-портретист, которого Академия наук поощрила за его стихотворения золотой медалью и 50-ю червонцами, а царь подарил почетный кафтан и золотые часы.

Это был талант посредственный, хотя Сенковский сравнивал его со знаменитым поэтом древней Греции Феокритом и стихотворения Слепушкина переводились на английский, французский и немецкий языки.

Пушкин немедленно обратил на него внимание, познакомился и пишет о нем Дельвигу: «у Слепушкина свой талант, пошли ему моих стихов с тем, чтобы он мне не подражал, а шел бы своей дорогой».

Позднее, узнав, что самоучка-поэт увлекается славой своей и это портит его, Пушкин восклицает: «Это вы погубили человека, набросав ему в рот всякой дряни вашей, а его беречь надо бы: ведь он от народа!»

3. М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Мы достаточно говорили об общем ходе русской жизни в 40-х годах, о тяжелом положении культурного русского дворянина под гнетом Николая I, теперь посмотрим, как он относился к себе самому, насколько глубоко была дворянская самокритика и каким образом дети крепостников дошли до поклонения рабам отцов своих и своим: одним словом, посмотрим, как барин изображал сам себя в литературе.

Начнем с дворянина Евгения Онегина, изображенного дворянином Пушкиным:

V

.....
Онегин был, по мнению многих
(Судей решительных и строгих),

Ученый малый, но педант.
Имел он счастливый талант
Без принуждения в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре,
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

VI

.....
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты,
От Ромула до наших дней,
Хранил он в памяти своей.

VII

.....
...читал Адама Смита,
И был глубокий эконоом,
То есть, умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет...

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,

Что занимало целый день
Его тоскующую лень —
Была наука страсти нежной...

По тому времени Онегин человек заметный,
он уже вполне сложившийся общественный тип,
он брат Пушкина по духу, на что указывает
совпадение их мысли:

Пушкин говорит:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей...

В дневнике Онегина записано:

Конечно, презирать не трудно
Отдельно каждого глупца;
Сердиться также безрассудно
И на отдельного срамца;
Но чудно!
Всех вместе презирать их трудно.

Онегин пишет:

Меня не любят и клеветают;
В кругу мужчин несносен я,
Девченки предо мной трепещут,
Косятся дамы на меня.
За что? За то, что разговоры
Принять мы рады за дела,
Что вздорным людям важны вздоры,
Что глупость ветрена и зла,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, простор любя, теснит.

-- Это жизнь самого Пушкина, его мысли,
повторенные им множество раз.
Далее — Пушкин пишет:

XIV

Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя;
Мы все глядим в Наполеоны.
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;

это, в равной мере, свойственно было и ему, и
его герою, и всем молодым людям той поры.

Возьмем Лермонтова и Печорина — его героя:
«Да и какое дело мне до радостей и бедствий
человеческих, мне, странствующему офице-
ру...»¹ — спрашивает Печорин.

Он говорит:

— Что до меня касается, то я убежден только в од-
ном... — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение че-
ловека, который до сих пор молчал.

— В том, — ствечал он, — что рано, или поздно, в одно
прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, — сказал я: — у меня, кроме этого,
есть еще убеждение, — именно то, что я в один пре-
красный вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а право, из них
никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты
мы отличали в толпе друг друга. Мы часто сходились

¹ «Герой нашего времени», «Тамань».

вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером...

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно... Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя¹.

Лермонтов пишет:

И скушно и грустно

И скушно, и грустно! — и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...

Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят — все лучшие годы!

Любить — но кого же? — на время не стоит труда,

А вечно любить невозможно...

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа

И радость, и муки, и все там ничтожно.

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка,

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг —

Такая пустая и глупая шутка!

¹ «Герой нашего времени», «Княжна Мери».

И снова мы видим полное совпадение чувств и мысли автора с чувствами и мыслью его героя.

Нам важно знать, что Онегин — портрет Пушкина, а Печорин — Лермонтова, важно и то, что национализм Чацкого был чертой не только одного Грибоедова, но и вообще молодежи той поры.

Все трое: Онегин, Чацкий, Печорин — довольно равнодушны к делам своей родины, они почти нигде не говорят о ней, о ее жизни, народе, — национализм Чацкого имеет подкладку не социальную, а сословную: это национализм русского дворянина, которому иноземец перебивает дорогу в жизни, а не естественное чувство возмущения русского человека, отданного под команду жандарма из немцев — Бенкендорфа и под наблюдение доносчика из поляков — Булгарина.

Но — уже в стихах Лермонтова начинают громко звучать ноты почти незаметные у Пушкина — это жадное желание дела, активного вмешательства в жизнь. Жажда дела, тоска сильного человека, который не находит почвы для приложения своих сил — была вообще свойственна людям тех годов; удовлетворялось это стремление поездками на Кавказ, участием в боях с черкесами, кутежами и скандалами, за которые, порою, люди платили всю жизнь. У Лермонтова эта тоска принимает особенно резкие контуры, например:

Монолог

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете, —
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,

Когда мы их употребить не можем.
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное течение...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжело, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша.
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

Молитва

Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя,
За то, что в заблужденьи бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;

От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.

Желание

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной —
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит,
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
И смахнул бы я пыль с них крылом;
И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
Как раздался, так смолкнул бы он.
Но тщетны мечты, бесполезны молебь
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
Расстилаются волны морей.
Последний потомок отважных бойцов
Увядает средь чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! Зачем я не ворон степной?..

Он верно почуял врага; и юноша еще в 30-м
году писал:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь...¹

Он писал Пушкину в 1832 году, когда тот посвятил Николаю известное стихотворение «Друзьям».

Лермонтов ответил ему:

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец не твой венец.

Изгнанием из страны родной
Хвалились повсюду как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни,
Боясь лишь вечного суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою².

Лермонтов действительно понял песнь Пушкина, понял его значение и один он проводил гроб поэта криком злобы, тоски и мести: стихи на смерть Пушкина справедливо считаются од-

¹ «Предсказание».

² Лермонтов, «Стихотворение К ***»,

ними из сильнейших стихотворений в русской поэзии.

Прочитаем эти стихи:

На смерть Пушкина

*Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.*

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жадой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид.
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья? —
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар,
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас как светоч дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. из далека,
Подобный сотням беглецов,

На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог упасть он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей? —
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:

Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;

Огравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

* * *

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть, есть божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждет,
Он не доступен звону злата
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смаете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Правительство услышало этот призыв к мести,
поняло его общественное значение и сослало по-
эта прапорщиком на Кавказ.

Сидя под арестом, он при помощи спички,
печной сажи и слюны написал на оберточной
бумаге, в которой ему приносили хлеб, четыре
стихотворения. В 1839 году он был возвращен
в столицу, а в 1840-м снова за дуэль сослан на
Кавказ; уезжая, он простился с родиной такими
словами:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.

В 1841 году 15 июля он был убит; Николай,
узнав об этом, сказал:

«Туда ему и дорога!»

Мы отвлеклись несколько в сторону; возвра-
тимся к Печорину, герою того времени: между

ним и его автором нет уже того полного слияния в одно лицо, которое мы находим между Пушкиным и Онегиным. Чем это объясняется? Прежде всего тем, что Лермонтов и сам — недопетая песня и не успел весь высказаться. Печорин был для него слишком узок; следуя правде жизни, поэт не мог наделить своего героя всем, что носил в своей душе, а если б он сделал это — Печорин был бы неправдив.

Иначе говоря, — Лермонтов был и шире и глубже своего героя, Пушкин еще любит Онегиным, Лермонтов уже относится к своему герою полуравнодушно; Печорин близок ему, поскольку в Лермонтове есть черты пессимизма, но пессимизм в Лермонтове — действенное чувство, в этом пессимизме ясно звучит презрение к современности и отрицание ее, жажда борьбы и тоска, и отчаяние от сознания одиночества, от сознания бессилия. Его пессимизм весь направлен на светское общество.

«Песнь о купце Калашникове» дает нам право думать, что Лермонтов — живи он дольше — нашел бы свой путь, что он, достойный преемник Пушкина, обладавший огромным талантом, мог бы, со временем, развиваться в первоклассного народного поэта.

4. А. И. ГЕРЦЕН.

«ДРАМА РУССКОГО БАРСТВА»

Мы должны возможно подробнее остановиться на жизни и деятельности Герцена — его значение в истории развития русского общества и русской мысли огромно и до сей поры еще не оценено полностью во всей широте и глубине.

Герцен — первый русский мыслитель, до него

никто не смотрел так разносторонне и глубоко на русскую жизнь.

Его ум — ум исключительный по силе, как его язык исключителен по красоте и блеску. Приведем для примера хотя бы следующие строки, написанные 59 лет тому назад:

Все наше образование, наше литературное и научное развитие, наша любовь изящного, наши занятия предполагают среду, постоянно расчищаемую другими, приготавливаемую другими; надобен чей-то труд для того, чтобы нам доставить досуг, необходимый для нашего психического развития, тот досуг, ту деятельную праздность, которая способствует мыслителю сосредотачиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствует пышному, капризному, поэтическому, богатому развитию наших аристократических индивидуальностей.

Кто не знает, какую свежесть духу придает беззаботное довольство... бедность страшно искажает душу человека, — не меньше богатства. Забота об одних материальных нуждах подавляет способности. А разве довольство может быть доступно всем при современной гражданской форме? Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве рабочих¹.

Герцен первый в 40-х годах в своем рассказе «Сорока-воровка» смело высказался против крепостного права — до него русская литература изображала крестьянина таким, как в «Записках охотника», т. е. не поддающимся гнету рабства; Герцен сказал — неправда!

Он первый резко поставил вопрос о положении женщины в своем романе «Кто виноват?».

¹ Герцен, «Письма с того берега».

Это его идеи развивали впоследствии Тургенев, Авдеев, Марко Вовчок и др.

В Герцене заключен весь Михайловский, Герцен дал все основные послышки народничества — на протяжении целых 50 лет русское общество не выдумало ни одной мысли, незнакомой этому человеку...

Он представляет собою целую область, страну изумительно богатую мыслями.

Основываясь на его сочинениях, доказывали самые разноречивые положения: консерваторы утверждали не раз, что Герцен консерватор, славянофилы признают его своим, социалисты называют первым русским социалистом и еще недавно — в текущем году — Русанов¹, сотрудник «Русского Богатства», доказывал — и доказал? — что Герцен является изобретателем русского социализма — так богат и полон знаниями этот человек.

Для нас он интересен, как некая правдивая мысль, коя на протяжении почти сорока лет отмечала и оценивала все разнообразные явления русской жизни.

Главным же образом, он интересен нам, как человек, который, поняв печальную способность психики русского человека увлекаться крайностями и уродовать действительность, всю жизнь указывал на вред этой способности, всю жизнь, не щадя себя, боролся с нею.

Поэтому, я говорю, что мы должны остановиться на жизни и работе Герцена возможно подробнее.

¹ Горький имеет в виду статью Н. С. Русанова «Западный социализм и русский социализм Герцена», «Русское богатство», 1909 г. №№ 7, 8.

Заграничная жизнь и деятельность Герцена многообразна и сложна, нам придется говорить о ней не однажды, здесь же мы очертим ее кратко.

Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, это наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему и желание деятельно участвовать в его судьбах¹.

Посмотрим, что было сделано для реализации этого желания.

Чтобы закрепить в памяти драму русского барства, вспомним кратко ее основные черты.

Человек сознал свое достоинство — и видел, и чувствовал на каждом шагу, что его личность не свободна, что ее права не признаются властью, командующей всей жизнью русского человека.

Он сознавал необходимость бороться за свободу своей личности — ясно сознавал, что он одинок, ему не на кого опереться в борьбе.

Будучи человеком умным, он чувствовал себя «умной ненужностью».

Он ясно понимал, что крепостное право губит страну, и — сам владел рабами. Его жизнь, его психика полна противоречий. Он хватается за все, что может, по его мнению, ответить ему на роковой вопрос «что делать?». Из него вырастает «рыцарь на час». «Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет...»²

И так появились «лишние люди», «умные ненужности».

¹ Герцен, «Письма к противнику».

² Некрасов, «Саша».

Но в этих терминах любители крайностей перешагнули, так сказать, границу самоотрицания. Ведь они были умные, а когда же умное — не нужно? Да еще в нашей стране головоулов?

Памятуя историческую преемственность идей, мы должны сказать, что русское барство положило основание нашей культуре, внесло в обиход русского общества наиболее прогрессивные научные и политические идеи Запада — вплоть до социализма, первыми пропагандистами которого явились Герцен и его кружок. Барство оставило новорожденному интеллигенту-разночинцу прекрасное наследство, лучшая часть которого состояла из богатой литературы по народоведению и из прекрасно разработанного учения о ценности личности — в стране рабов это учение необходимо должно было явиться, и вот как формулировал его Герцен:

...Разумеется, люди эгоисты, потому что они лица. Как же быть самим собою, не имея резкого сознания своей личности...

...Мы эгоисты, и потому добиваемся независимости, благосостояния, признания своих прав, потому жаждем любви, ищем деятельности и не можем отказывать без явного противоречия в тех же правах другим... Всего меньше эгоизма у рабов...

Вы видите, что здесь постановка вопроса не индивидуалистическая — личность с ее законными правами на свободу не противопоставляется обществу, общество не приносится в жертву индивидууму, но и человек не должен быть жертвой; ибо, говорит Герцен;

— Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения бога, распятие невинного за виновных. Все религии основывали нравственность на покорности, т. е. на добровольном рабстве, потому они и были всегда вреднее политического устройства. Там было насилие, здесь разврат воли. Покорность значит с тем вместе перенесение всей самобытности лица на всеобщие безличные сферы, от него независимые. Христианство, религия противоречий, признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица, как будто для того, чтобы еще торжественнее погубить его перед искуплением, церковью, отцом небесным. Его воззрение проникло в нравы, оно выработалось в целую систему нравственной неволи, в целую искаженную диалектику, чрезвычайно последовательную себе. Мир, становясь более светским... примешал свои элементы в христианское нравоучение, но основы остались те же. Лицо, истинная действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, об этом никто не спрашивал. Все жертвовали (по крайней мере, на словах) самих себя и друг друга¹.

Это учение имеет корни свои в книгах Фурье, С.-Симона и прочих социалистов, занимавшихся разрешением задачи о том, как слить гармонически интересы общества и личности, резко враждебные в современном государстве, основанном на борьбе всех со всеми?

Решение вопроса Герценом не может удовлетворить нас, да он, в сущности, и не решил его,

¹ Горький здесь цитирует из статьи Герцена «*Optima mea necum porto*» («Все мое ношу с собой»).

а лишь поставил и поставил совершенно правильно.

Вопрос решили Крапоткин и Толстой — в смысле анархизма, Писарев — в смысле крайнего индивидуализма и полной свободы личности, Лавров, Михайловский и Кареев, видя, к чему приводит писаревщина, хотели поправить дело и — окончательно запутали его. По их учению роль личности сводится к роли пастуха, подчиненного настроениям разнообразного стада, в котором утки, гуси, куры, овцы, быки, козлы, предполагается, обладают совершенно одинаковыми потребностями и свойствами, и лишены эгоистических тенденций.

Итак, «лишние люди», «умные ненужности» сошли со сцены, как об этом прозвонил «Колокол» Герцена еще в 1859 году.

Э п и г р а ф.

...Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный тип лишнего, потерянного человека, только потому, что он развился в человеке, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах...

...Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет лишних людей, теперь, напротив, к нашим огромным запашкам недостает рук. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле пустой человек, свищ или лентяй...¹

Место барина в русской жизни и литературе заступил разночинец.

¹ Эпиграф к статье Герцена «Лишние люди и желче вики».

...Наименование «народный поэт» приложимо к нему с большим правом, чем к нашему Кольцову.

Темы Кольцова — труд и любовь; разве только этим ограничена жизнь народа? И разве только в поле трудится он?

Русский народ, как строительная сила, создал три типа государственного бытия: — демократическое княжество — Киевскую Русь, республиканские народоправства — Новгород, Псков, Вятку, самодержавную татарского типа деспотию — Москву.

Этот народ несколько раз поднимался против Москвы, добиваясь свободы — Разин, Булавин, Пугачев были, как никак, выразителями его тенденций.

Он, народ этот, без помощи государства захватил и присоединил Москве огромную Сибирь руками Ермака и понизовой вольницы, беглой от бояр.

Он, в лице Дежнева, Крашенинникова, Хабарова и массы других землепроходцев, открывал новые места, проливы — на свой риск и за свой страх.

Он же додумался на 53 года ранее Дениса Папина до изобретения паровой водоподъемной машины — изобретенной на Урале в 1637 году.

Этим народом сделано много дела, у него есть большая история — исчислять его работу у нас нет времени, но нам необходимо было вспомнить обо всем этом, для того, чтобы сказать: народный поэт Кольцов не касался прошлого своего народа, он не знал его истории и не чувствовал его внутренней, духовной жизни.

Шевченко — все знал или, по крайней мере, все чувствовал: он, взглянув на жизнь народа оком поэта и провидца, воскликнул:

і день іде, і ніч іде...
И голову скопивши в руки,
Дивуєшся: чому не йде
Апостол правди і науки?!

Тарас Шевченко — крепостной мужик помещика Энгельгардта, до 9 лет он жил, так сказать, на воспитании и содержании у самой природы. С одиннадцати, выучившись грамоте у дьячка, он служит у попа погонным волом, затем — работает с мальрами, пасет овец, потом служит у Энгельгардта поваренком и казачком.

Энгельгардт отдает его в ученики художнику в Питер, литератор Гребенка, заметив у мальчика талант, устроил его в Академию. Пытались выкупить Шевченко из рабства, но неудачно, хотя хлопотали об этом знаменитые художники той поры — Брюллов, Венецианов и знатный человек — Жуковский. Брюллов, ездивший в Звенигород к помещику, сказал про Энгельгардта: «Это самая крупная свинья, какую я видел до сего дня!»

Шевченко впал в отчаяние и едва не покончил самоубийством.

Наконец —

У меня нет Кобзаря, и мы не можем почтить задушевных стихов этого поэта, у которого, к сожалению, мало учились наши поэты, как надо воспринимать и чувствовать народную жизнь, как широко надо брать ее.

Деятельность Шевченко, живописца, тоже за-

служивает упоминания, ибо он был учителем знаменитого первого русского жанриста Федотова, положившего основание школе русских художников-реалистов.

Этот человек жил в одно время с Тургеневым, Толстым, Некрасовым, Писемским, Григоровичем — со всеми столпами русской литературы, и все они ничего не могли сделать для облегчения его тяжелой судьбы — но это объясняется их бессилием и гнетом, лежавшим на них.

А почему он, Шевченко, остался непризнанным, почему его не читали и не оценили — этого я не умею объяснить.

Между тем он заслуживает высокой оценки, именно как первый и воистину народный поэт, не искажавший субъективными добавлениями народных дум и чувств.

В его жалобах на личную судьбу — слышна жалоба всей Малороссии, в его воспоминаниях о казацкой воле — вы почувствуете воспоминания всего народа.

Он не говорил, как Некрасов, которого тоже часто называют народным поэтом:

Пожелаем тому добрый ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям...¹

¹ Из стихотворения Некрасова «Ночь... Успели мы насладиться».

Это — ироническое пожелание, конечно. Но горькая его ирония вызвана у Некрасова сознанием отдаленности своей от народа, ощущением одиночества — чувствами, которых не ведал Шевченко, духовно близкий своей родной Малороссии.

6. И. С. ТУРГЕНЕВ

И. С. Тургенев был хороший реалист, а я уже не раз говорил, что писатель-реалист, невольно подчиняясь своим впечатлениям, часто не замечает, что, рисуя дорогое и близкое ему, он — рисует это близкое таковым, каково оно есть на самом деле, т. е., иными словами, красота или ясность материала повести не позволяет ему исказить себя.

Рудин — живое лицо эпохи; говорили, что Тургенев списал его с поэта Огарева — друга Герцена. С большими доказательствами говорилось, что Рудин — М. Бакунин. Но — и сам Тургенев носил в себе черты Рудина, как носил их одно время даже Герцен. Однако это не мешало писателю характеризовать Рудина так:

— Не люблю я этого умника, — говаривал он (Пигасов): — выражается он неестественно, ни дать, ни взять, лицо из русской повести: скажет: «я», и с умилением остановится... «Я, мол, я...».

Слова употребляет все такие длинные. Ты чихнешь, он тебе сейчас станет доказывать, почему ты именно чихнул, а не кашлянул... Хвалит он тебя точно в чин производит... Начнет самого себя бранить, с грязью себя смешает — ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчивал.

Устами Лежнева — другого героя повести, мы его со временем встретим у Тургенева же под именем постепеновца Соломина, а у Гончарова — как это ни странно — под именем фаталиста Обломова, — так вот устами этого Лежнева, который носит в себе зачатки двух начал — деятельного и пассивного, Тургенев так говорит о Рудине:

— доложу вам, мне Рудин, действительно, не нравится. Он умный человек...

— Еще бы!

— Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой...

— Это легко сказать!

— Хотя в сущности пустой, — повторил Лежнев: — но это еще не беда: все мы пустые люди. Я даже не ставлю в вину ему то, что он деспот в душе, ленив, не очень сведущ...

Александра Павловна всплеснула руками.

— Не очень сведущ! Рудин! — воскликнула она.

— Не очень сведущ, — точно тем же голосом повторил Лежнев: — любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль, и так далее... это все в порядке вещей. Но дурно то, что он холоден, как лед.

— Худо то, что он не честен. Ведь он умный человек: он должен же знать цену слов своих, — а произносит их так, как будто они ему что-нибудь стоят... Спору нет, он красноречив; только красноречие его не русское. Да и, наконец, красно говорить простительно юноше, а в его года стыдно тешиться шумом собственных речей, стыдно рисоваться!

Дело в том, что слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут поступком — а между тем, эти самые

слова могут смутить, погубить молодое сердце.

Наш кружок состоял тогда, говоря по совести, из мальчиков — и недоученных мальчиков. Философия, искусство, наука, самая жизнь — все это для нас были одни слова, пожалуй даже понятия, заманчивые, прекрасные, но разбросанные, разъединенные. Общей связи этих понятий, общего закона мирового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о нем, силились отдать себе в нем отчет... Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы наконец схватили ее, эту общую связь, что поднялась наконец завеса! Положим, он говорил не свое — что за дело! Но стройный порядок водворялся во всем, что мы знали, все разбросанное вдруг соединялось, складывалось, вырастало перед нами, точно здание, все светлело, дух веял всюду... Ничего не оставалось бессмысленным, случайным: во всем высказывалась разумная необходимость и красота, все получало значение ясное и, в то же время, таинственное, каждое отдельное явление жизни звучало аккордом, и мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому...

...в Рудине, в этом красивом и статном малом, было много мелочей; он даже сплетничал; страсть его была во все вмешиваться, все определять и разъяснять. Его хлопотливая деятельность никогда не унималась.. политическая натура-с.

Далее: возьмем сцену Рудина с Наташей, которой он кружит голову, сам не зная для чего.

Девица поверила ему, но их свидание подглядели, донесли ее матери и — вот заключительная сцена повести:

«Что делать? — спрашивает Наташа. — Я пришла за советом!»¹

Уезжая, Рудин оставил Наташе письмо с такой самохарактеристикой:

...Я остаюсь один на земле для того, чтобы предаться, как вы сказали мне сегодня поутру с жестокой усмешкой, другим, более свойственным мне занятиям. Увы! если бы я мог, действительно, предаться этим занятиям, победить наконец свою лень... Но нет! я останусь тем же неоконченным существом, каким был до сих пор... Первое препятствие — и я весь рассыпался; происшествие с вами мне это доказало. Если б я, по крайней мере, принес мою любовь в жертву моему будущему делу, моему призванию; но я просто испугался ответственности, которая на меня падала, и потому я точно недостоин вас. Я не стою того, чтобы вы для меня отторглись от вашей сферы... А впрочем, все это, может быть, к лучшему. Из этого испытания я, может быть, выйду чище и сильнее...

Но низложив Рудина с высот, умный Иван Сергеевич понял, что, оставив дело в таком виде, он сильно обидит и себя самого и всех своих друзей. А потому он приделал к повести некоторую мораль, — ее говорит тот же Лежнев, который впервые рассказал Рудина.

...Я предлагаю вам выпить теперь за здоровье Дмитрия Рудина!

— Я знаю его хорошо. — продолжал Лежнев: — недостатки его мне хорошо известны. Они тем более выступают наружу, что сам он не мелкий человек.

¹ Горький здесь имеет в виду известную сцену объяснения Рудина с Натальей у Авдوخина пруда.

— Рудин — гениальная натура! — подхватил Басистов.

— Гениальность в нем, пожалуй, есть, — возразил Лежнев: — а натура... В том-то вся его беда, что натуры-то собственно в нем нет... Но не в этом дело. Я хочу говорить о том, что в нем есть хорошего, редкого. В нем есть энтузиазм; а это, поверьте мне, флегматическому человеку, самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет! Пора! Помнишь, Саша, я раз говорил с тобой о нем и упрекал его в холодности. Я был и прав и неправ тогда. Холодность эта у него в крови — это не его вина — а не в голове. Он не актер, как я называл его, не надувало, не плут; он живет на чужой счет не как проныра, а как ребенок... Да, он, действительно, умрет где-нибудь в нищете и в бедности; но неужели ж и за это пускать в него камнем? Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем натуры, крови нет; но кто в праве сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? Что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы? Да я сам, я первый, все это испытал на себе... Саша знает, чем был для меня в молодости Рудин. Я, помнится, также утверждал, что слова Рудина не могут действовать на людей; но я говорил тогда о людях, подобных мне, в теперешние мои годы, о людях уже поживших и поломанных жизнью. Один фальшивый звук в речи — и вся ее гармония для нас исчезла; а в молодом человеке, к счастью, слух еще не так развит, не так избалован. Если сущность того, что он слышит, ему кажется прекрасной, что ему за дело до тона! Тон он сам в себе найдет.

— Bravo! bravo! — воскликнул Басистов: — как это справедливо сказано! А что касается до влияния Руди-

на, клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал тебя!

— Вы слышите? — продолжал Лежнев, обращаясь к Пигасову: — какого вам еще доказательства нужно? Вы нападаете на философию; говоря о ней, вы не находите довольно презрительных слов. Я сам ее не больно жалую и плохо ее понимаю: но не от философии наши главные невзгоды! Философские хитросплетения и бредни никогда не привьются к русскому: на это у него слишком много здравого смысла; но нельзя же допустить, чтобы под именем философии нападали на всякое честное стремление к истине и к сознанию. Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни искусства, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии. Но опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем. Нас бы очень далеко завело, если бы мы хотели разобрать, отчего у нас являются Рудины. А за то, что в нем есть хорошего, будем же ему благодарны. Это легче, чем быть несправедливым к нему, а мы были к нему несправедливы. Наказывать его не наше дело, да и не нужно: он сам себя наказал гораздо жесточе, чем заслуживал. И дай бог, чтобы несчастье вытравило из него все дурное и оставило в нем одно прекрасное! Пью за здоровье Рудина! Пью за здоровье товарища моих лучших годов, пью за молодость, за ее надежды, за ее

стремления, за ее доверчивость и честность, за все то, от чего и в двадцать лет бились наши сердца, и лучше чего мы все-таки ничего не узнали и не узнаем в жизни... Пью за тебя, золотое время, пью за здоровье Рудина!

Так похвалил и одобрил сытый голодного, оседлый — кочевника.

Но — повесть еще не кончена. Рудин встречается с Лежневым и рассказывает ему о своих попытках пристроиться к жизни, чтобы перестроить ее.

Так хороший русский барин Тургенев изобразил в одном лице жизнь и приключения многих русских бар 40-х—50-х годов.

В изображении этом две части, два отношения к герою: в первой Рудин болтун, краснбай, соблазнитель девиц, странный путаник и — все это отчасти потому, что он «политический человек».

Нельзя отрицать — повторяю, — что Рудин — живое лицо, но надо помнить, что И. С. Тургенев — не любит политики и что, именно, эта нелюбовь заставила его в первой части рассказа отнестись к Рудину слишком сурово.

Во второй части спокойный и зажиточный флегматик Лежнев оправдывает и объясняет Рудина, но — как? Обидно оправдывать — вообще нехорошо слушать, как оправдывают что-нибудь или кого-нибудь для успокоения своей совести — в данном же случае это особенно нехорошо.

Тургенев вообще не долюблял мечтателей, он любил противопоставить мечтателю — практика: Калиныча — Хорю, Нежданова — Соломину; мы и здесь видим его попытку сконфузить мечтателя — лицо по тем временам нужное и важ-

ное. Несмотря на все смягчающие вину обстоятельства, несмотря на заезд в Париж и смерть на баррикаде — Рудин поставлен пред нами человеком бессильным, раздавленным жизнью, побежденным, не оставившим в ней следа.

Справедливо ли это? Мне думается — нет, несправедливо. Приняв во внимание все условия времени, — и гнет правительства, умственное бессилие общества и отсутствие в массах крестьян сознания своих задач — мы должны будем признать, что мечтатель Рудин, по тем временам, был человеком более полезным, чем практик, деятель.

Мечтатель — он являлся пропагандистом идей революционных, он был криком действительности, он, так сказать, пахал целину, — а что, по тому времени, мог сделать практик?

Нет, Рудин лицо не жалкое, как принято к нему относиться, это несчастный человек, но — своевременный и сделавший не мало доброго. Ведь, как уже сказано, Рудин — это и Бакунин, и Герцен, и отчасти сам Тургенев, а эти люди, вы знаете, не даром прожили свою жизнь и оставили для нас превосходное наследство.

С произведений Тургенева начинается в русской литературе новое отношение к барству — отношение резко отрицательное, насмешливое и — несправедливое, ибо оно не исторично, односторонне. Позднее сам же Тургенев протестовал против такого отношения, считая его не историчным и неверным, но, протестуя, он забыл, что именно его «лишние люди», его Гамлеты Щигровского уезда, Рудины, Неждановы, герои повести «Ася» и т. д., именно его типы установили такое отношение, как высказанное Чернышевским в одной из его статей.

Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми порядочными людьми, подобно ему выведенными другими у других поэтов; пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, и большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие об их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания и сказать: «вы хотите того-то и того-то. Мы очень рады. Начинайте же действовать, а мы вас поддержим». При такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро» и «при том же они честные люди» и не только честные, но очень смирные и не хотят подвергать вас неприятностям и что, вообще, разве можно, в самом деле, хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не желали и не ожидали» и проч.¹

Это — верно, как характеристика явления психического, но неверно, как исторический взгляд:

¹ Горький здесь ссылается на статью Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous».

неверно и опровергается одним возражением: в эпоху 40-х годов та деятельность, кою подражывал Чернышевский, была совершенно невозможна, ибо — с какими силами русское общество той эпохи могло бы воспроизвести в России европейские события 48 года? Сил таких — не было, условий для 48 года — не было. Мы в ту пору отставали от Запада лет на сто, мы были младенцами политически и социально — нам ли было браться за дела взрослой и зрелой буржуазии Европы?

Иван Сергеевич Тургенев был человек умнейший, но он был русский человек, а русскому волею истории суждено рождаться на свет божий с душою чрезвычайно уклончивой в сторону силы. Повторю, для ясности — в этом история повинна. И Тургенев тоже обладал уклончивой душой, а посему он очень часто подигрывался под демократические идеи и настроения, что не мешало ему оставаться до мозга костей дворянином.

* * *

Оставим временно русского барина критикующим русских бар для того, чтоб понравиться разночинцу, и посмотрим, как этот барин относился к своему крепостному мужику.

Что выдвинуло в 40-х годах на сцену мужика, что сделало из него в 50-х первое лицо в литературе?

Историки объясняют этот факт влиянием западного социализма и главным образом — влиянием романов Жорж Занд, как истолковательницы его. Но — это едва ли верно, а если и верно, то лишь отчасти: идеи Жорж Занд помогли установить, организовать известное отно-

шение к мужику, но интерес и внимание к нему вызвал он сам, и вызвал грубейшим образом, именно, путем бунтов и волнений. Он занимался этим делом чрезвычайно усердно и все с большей энергией.

С 1826-го по 1829 год — 41 случай
» 1830-го по 1834 » — 46 »
» 1835-го по 1839 » — 59 »
» 1840-го по 1844 » — 101 »
» 1845-го по 1849 » — 172 »
» 1850-го по 1854 » — 137 — сокращение за счет
распространившихся в ту пору
слухов о воле.

Если в течение 1460 дней мужик бунтует 172 раза, то выходит, что он бунтует каждые 9 дней по одному разу обязательно — тут уж поневоле обратишь на него внимание и без участия социализма Жорж Занд и прочих пестрых толков!

Русской литературе приписывается огромная роль в деле освобождения крестьян — и это справедливо потребует поправки: о крепостном праве гораздо благороднее и смелее писали после его уничтожения, чем при существовании его.

Одной из книг, которая нанесла серьезный удар рабству, считаются «Записки охотника» Тургенева, но читая внимательно эти рассказы, печатавшиеся с 1847 года и вышедшие отдельным изданием в 1852 — читая их, мы нигде не встретим прямого, открытого протеста против рабства; его нет.

Рассказы эти прежде всего изображают больше помещиков, чем мужиков, а мужиков же они рисуют так — вот мужик Хорь:

...Он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. — Да зачем тебе селиться на болоте? — Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете. — Пятьдесят рублей в год! — Извольте. — Да без недоимок у меня, смотри! — Известно, без недоимок... Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых obroka платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: откупись, Хорь, ей, откупись!.. А он, бестия, меня уверяет, что нечем: денег, дескать, нету...

...Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему: — отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Все же лучше на свободе, — заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо, — проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди,— продолжал он вполголоса, как будто про себя: — кто без бороды живет, тот Хорю и набольший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? Борсада — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет: купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А, что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку, маслишком, да дегтишком... Что же тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я¹.

Хорошие мужики. И живут недурно. И ни на что не жалуются. Господ уважают. Совершенно нельзя понять — почему же они бунтуют по 25 раз в год?

А вот вольноотпущенный дворовый Туман рассказывает о своем барине:

...Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман», говорит, «мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». — Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон пер-

¹ Тургенев, «Хорь и Калиныч».

вого сорта, табакерки, картины этикие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, — господи, владыко живота моего! Фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палат. Музыкантов одних сорок человек на-лицо состояло.

Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец, — с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом; у меня и так, гсворит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и все больше лякосез-матрадура... э...э...э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня). На-ка, Степа. — Барин был, как следует, барин, — продолжал старик, закинув опять удочку: — и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, — смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Они-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, — подавай им что ни-на-есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, — дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли: теперь она покойница — царство ей небесное! Девка была простая, Ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я, после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув головой¹.

¹ Тургенев, «Малиновая вода».

Превосходнейший экземпляр раба, воспринимающий рабство с точки зрения, так сказать, эстетической.

Вот еще мужичок:

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, вглядевшись в него: — здорово, брат. Откуда бог принес?

— Здорово, Михаила Савельич, — проговорил мужик, подходя к нам; — издалеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву сходил к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чем просить?

— Да чтоб оброку сбавил, аль на барщину посадил, переселил что ли... Сын у меня умер — так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник, — прибавил мужик, помолчав: — у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк вносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня! Говорит, как смеешь прямо ко мне итти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недонму за себя вноси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: я, мол, Филиппов отец; а он мне говорит, а я почему знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу. Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съезженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того... — заговорил внезапно Степушка, — смешался, замолчал и принялся копать в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугория: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там не хитри, — шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.)

— Уж как там ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, — а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? — это плохо, брат Влас, — с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, — продолжал он, утирая лицо рукавом. — А то вот еще один мужик Сучок¹.

И в этих нет ничего особенного, кроме христианского терпения. Изображая их, автор как бы усовещивает читателя:

— Гляди, — какой кроткий мужик.

Его и пороть не надобно трудиться — он и без порки все сделает для барина, по кротости своей! Тургенев почти не касается мужика тяглового, настоящего землероба — он, преимущественно, изображает бывших дворовых, разных

¹ Тургенев, «Малиновая вода».

отколовшихся от хозяйства людей или фигуры вроде Хоря — практиков, индивидуалистов, впоследствии, в 80-х годах облюбованных Эртелем и восхваленных им.

Человек массы, бунтующий мужик, остался у Тургенева в стороне. «Записки охотника» — мирные идиллические картинки, ни слова горечи в них не сказано, ни одной гневной ноты не слышно.

А между тем, задолго до этих рассказов, Герцен писал в своем дневнике:

...А как взглянешь вокруг себя... — Бедный, бедный русский мужик! Глядя на его жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши; обыкновенно мужик здешней полосы никогда не ест мяса, у него едва хватает хлеба; коли побогаче, ест капусту; он каждый день со своей семьей отыгрывается от голодной смерти. О запасах нечего и думать; умри лошадь, корова — он идет ко дну.

Возле их (крестьянских) полей богатые поля помещика, обработанные его руками, скирды хлеба, копны сена.

Какое ангельское самопожертвование! Сегодня приходили к окну нищие из соседней деревни; помещик выгоняет их ежедневно на работу поголовно — у них нет хлеба, это бросается в глаза. Если есть только хлеб, то совесть помещика чиста: чего же им боле, они сыты.

Кротко, грустно несут крестьяне тяжелый крест жизни, черно проводят ее, имея в перспективе розги, голод и барщину.

Двенадцать миллионов людей вне закона!.. Ужас!..¹

¹ Из «Дневников» Герцена.

Тот же Герцен в 1846 году рассказал потрясающую историю крепостной актрисы — затравленной и замученной баринном, а через год, в своем сочинении — «Записки д-ра Крупова» — так едко обрисовал крепостное право:

...я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга; эти уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так в V палате жили восемь человек легко помешанных в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том, что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая пресмешные свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и шесть остальных готовы были оттащить злодея; он называл его вором, стяжателем; и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съесть все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою, и награжденный точил слезы умиления, а остальные слезы зависти.

Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми (самые бешеные собою совершенно довольны), но признаваемых за таких другими. Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия.

Главные признаки расстройства умственных способностей состоят:

а) В неправильном, но и произвольном сознании окружающих предметов;

б) В болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным даже вредом самому больному и отсюда —

в) Тупое и постоянное стремление к целям не существенным и упущение целей действительных.

Этого достаточно для того, чтобы убедиться в истинности моих выводов.

И вот как он описывает город.

Городок наш вообще оригинален, это губернское правление, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около присутственных мест; он тем отличается от других городов, что он возник собственно для удовольствия и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвет, плод и корень города. Остальные жители — как купцы, мещане — больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу без купцов и мещан. Все получали смысл только в отношении к начальству (и к откупу впрочем); мастеровые, например, портные, сапожники, шили для чиновников фраки и сапоги; содержатель трактира имел для них билиард. Прочие неслужащие в городе занимались исключительно производением тех средств, на которые чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на билиарде.

В нашем городке считалось 5 000 жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые дено и ночью работали, не вырабатывали ничего, а те, которые ничего не делали, непрерывно вырабатывали и очень много.

Как видите — во времена Тургенева было и более определенное и более откровенное отношение к крепостному праву.

7. М. Е. ЩЕДРИН

История русской интеллигенции с 50-х до 80-х годов наиболее ярко изображена Щедриным.

Щедрин шел в ногу с жизнью, ни на шаг не отставая от нее, он пристально смотрел в лицо ей и — горько пророчески хохотал надо всеми и всем.

Это не смех Гоголя, а нечто гораздо более оглушительно-правдивое, более глубокое и могучее.

Вот как он изображает деятелей 60-х—70-х годов.

...Тайна этой переимчивости задним числом опять-таки объясняется слишком большою талантливостью Митрофана. Ему некогда следить за быстро сменяющимися явлениями жизни, потому что он, уловивши одну какую-нибудь крупницу, уже не может отвязаться от нее, не натешившись всласть, не выжавши из нее сока, не доведя факта до абсурда. Из фрака он сделает мундир и напишет целый трактат о ношении его; из бритвы бороды он создаст себе кумир и будет носиться с этим кумиром до изнеможения. Восприимчивость угнетает его и нередко даже делает опасным утопистом и беспардоннейшим регламентатором. Покуда он носится с своим «живым вопросом» и старается внедрить его в себя на веки-вечные, живой вопрос давно уже оказывается сданным в архив и замененным другими, более подходящими вопросами. Что в результате такой упорной восприимчивости может быть только глухая стена, — это очевидно; но Митрофан слишком самолюбив, чтобы обвинить себя в таком неудачном результате. «Сколько лет мы носим фраки, сколько крови из-за одной бороды пролито, а все толку нет!» говорит он и принимает

твердое намерение навсегда отвернуться от затей разлагающегося Запада, которые, на его взгляд, до того уже тогда, что и натешиться-то ими вдоволь нельзя.

Никто, конечно, не спорит, что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны. Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастье само свалится когда-нибудь с неба. Митрофан же смотрит на это дело совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутых фактов, и в особенности напирая на то, что у нас они (являясь в виде заношенного чужого белья) всегда претерпевали полнейшее фиаско, он в то же время завиняет и самый процесс творчества, называет его бесплодным метанием из угла в угол, анархией, бунтом...

...Митрофан с особенным удовольствием останавливается на политических и общественных формах, потому что видит их внешнюю изменчивость и от этого признака приходит к заключению о негодности самого процесса создания этих форм. По его мнению, каприз и чудачество булбуревуют бселенную; люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось. То внутреннее содержание, от которого зависит то или другое устройство обществ, те открытия и изобретения человеческого ума, которые так резко определяют характер того или другого периода истории человечества, совершенно закрыты для него.

Историческая наука недаром отделила последние четыре столетия и существенным признаком этого отграничения признала великие изобретения и открытия XV века. Здесь проявления усилий человеческой мысли дали жизни человечества совсем иное содержа-

ние и раз навсегда доказали, что общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность, что они делаются шире и растяжимее по мере того, как пополняется и осложняется материал, составляющий их содержание.

Митрофан ничего этого не знает и не хочет знать. Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более, как случайность, и спешит заткнуть ту или другую дыру и сделать некоторые ничтожные поправки в обветшавшем здании табели о рангах. Да, — только в табели о рангах, ибо как ни глумится над ней Митрофан под веселую руку, а она все-таки и дондесь составляет единственный обрывок цивилизации, действительно дорогой его сердцу...

...Самонадеянность и хвастовство растут, а житье наступает трудное. трудное даже для Митрофанов. Нелепно перенимают они всякую новую штуку; но так как эта штука является независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений, в глазах Митрофанов, есть мир подробностей, существующий *an sich und für sich* и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни. Понятно, какое должно выйти столпотворение, сколько заплат, пятен и брызгов грязи должно быть на той ризе, которую сооружает себе Митрофан и к которой он каждый днь прибавляет по новой заплате, по новому грязному пятну.

Но кроме путаницы, Митрофану угрожает еще другая беда: отчаяние. Он может очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста.

Эти Митрофаны-просветители живейшим образом превращаются в ташкентцев:

...Всюду, куда я ни сбрашаю мои взоры, я вижу: с одной стороны — упорствующую безазбучность; с другой — увеличивающийся аппетит и возрастающую затейливость требований для удовлетворения его. Ничто так не прихотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порастлившийся тонкою примесью цивилизации. Пирог, начиненный устностью и гласностью — помилуйте! да это такое объедения, что весь его ешь — и век сыт не будешь!..¹

Ташкентцы — множество:

...Итак, Ташкент может существовать во всякое время и на всяком месте. Не знаю, убедился ли в этом читатель мой, но я убежден настолько, что считаю себя даже вполне компетентным, чтобы написать довольно подробную картину нравов, господствующую в этой отвлеченной стране. Таким образом, я нахожу возможным изобразить:

- ташкентца, цивилизующего *in partibus*;
- ташкентца, цивилизующего внутренности;
- ташкентца, разрабатывающего собственность казенную (в просторечии — казискрад);
- ташкентца, разрабатывающего собственность частную (в просторечии — вор);
- ташкентца промышленного;
- ташкентца, разрабатывающего смуту внешнюю;
- ташкентца, разрабатывающего смуту внутреннюю; — и так далее, почти до бесконечности.

¹ Из книги М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы».

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всех имеется один соединительный крик:
Жрать!!¹

Сатира Щедрина вызвала целый ряд подражателей, из них наиболее крупными явились Атава-Терпигорев и Круглов. До некоторой степени Салтыков влиял и на Лескова — писателя очень крупного и умного.

Вы видите, что Новодворский подражает Щедрина — взять литературного героя, литературный тип прошлого времени и показать его в жизни текущих дней — это любимый прием Щедрина. Его герои в 70-х—80-х годах — потомки Хлестакова, Молчалина, Митрофана, Простакова, заполнившие всю жизнь с особенной силой после 1881 года. И значение его сатиры огромно, как по правдивости ее, так и по тому чувству почти пророческого предвидения тех путей, по коим должно было идти и шло русское общество на протяжении от 60-х годов вплоть до наших дней.

Предвидение это объясняется тем, что Салтыков прекрасно знал психику представителей культурного общества его времени, психика эта слагалась на его глазах, он же был умен, честен, суров и никогда не замалчивал правды, как бы она ни была прискорбна.

В 60-х годах все ликовали, приветствуя нового человека и совершенно забыв, что «новому человеку» негде встать, что он родился в болоте и принужден строить воздушные замки, но здоровый социальный скептицизм не обманул Щедрина и он еще в то время злейшим образом

¹ Салтыков-Щедрин, «Господа ташкентцы».

осмеивал и нигилистов и славянофилов, прекрасно понимая, что стране нужны не они, а прежде всего люди, умеющие работать и люди искреннего демократизма. В искренность демократических тенденций русского общества¹ Щедрин не верил — как он не верил и в народолюбие, которым тогда рисовались. Он понимал, что раба нельзя любить и что в сущности своей творческое чувство любви к родине, к человеку не может быть доступно и понятно новорожденному обществу, не знающему своей родины и привыкшему пользоваться человеком, как рабом.

Щедрин чувствовал, что общество, в лице даже лучших своих представителей², зовет мужика на политическую барщину, т. е. на борьбу за расширение прав именно либерального общества.

Его положение было драматично и страшно мучило этот зоркий, острый ум, не видевший как, чем и кем разрешится эта пореформенная путаница отношений в стране совершенно не подготовленной к бою за существование и не имеющей сложившихся, деятельных и поставивших себе определенные цели, сил; его сатира все расширялась и углублялась.

Необходимо знать историю города Глухова — это наша русская история: и вообще невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи Щедрина — самого правдивейшего свидетеля нашей духовной нищеты и неустойчивости, происходящей, будем думать,

¹ Горький здесь имеет в виду дворянско-буржуазную интеллигенцию.

² То же.

главным образом из нашей исторической молодости.

Он изображал лучшие тенденции русских людей в типах караса-идеалиста и благонамеренного зайца, а народ в его сатире является так:¹

Здесь скрыта злая ирония над всеми мужиколюбами, от славянофилов до народников, сотрудничавших в журнале Салтыкова. Именно так рисовали они себе русского мужика, и это отношение к нему крайне устойчиво у нас, оно снова возникает в текущие дни, ибо снова необходима проповедь политической барщины, т. е. — культурное общество снова должно схватиться за народ, дабы его силой продвинуться далее, к установлению в стране европейских форм жизни.

В наши дни Щедрин — ожил весь и нет почти ни одной его злой мысли, которая не могла бы найти оправдания в переживаемом моменте.

Вновь воскресли Молчалины и Хлестаковы, Митрофанушки — заседают в государственной думе, а ренегатов — еще больше, чем в 80-х годах. Несколько раз Щедрин пытался создать так называемый «положительный тип», т. е. — человека, как пример достойный подражания, но ему это удалось еще меньше, чем другим; не таков был его ум, чтобы ослеплять себя самообманами.

¹ Горький здесь имеет в виду главу из очерков Щедрина «За рубежом» — «Мальчик в штанах и мальчик без штанов».

II. ЛЕВ ТОЛСТОЙ¹

ЗАМЕТКИ

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был

¹ Вспоминаниям о Толстом Горький предпослал следующее примечание: «Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олесе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжело больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под влиянием «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправив в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать». Толстой жил в Гаспре в 1901 году.

естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки, — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно было делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на эдакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, москве, коту. Сулер — какая-то восхитительно-вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно

относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Крапоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоед, — с досадой сказал Л. Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысла? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь — что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, — что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно

пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого немного, но уже и не мало. Ты, вот, споришь со мной и сердись до того, что нос у тебя синее, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли: — Какой-то маленький немецкий царек сказал: — «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога, и мать у него еврейка, — это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзок»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожа-

ления и хотя — иногда — любитесь им, но, — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню, — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, очень умный. Держится он очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине¹.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: — зачем гоняет по земле

¹ Иван Забелин, русский историк и археолог (1820—1908), автор книги «Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях».

из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon». Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гете и Виланда не любил...»

XI

«Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза», — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а ерундистика, как говорили в средние века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безискусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду петь,
но только песня зреет!¹ —

¹ Из стихотворения Фета, которое начинается строкой: «Я пришел к тебе с приветом...».

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские «артикле де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямою, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неизвестного еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

ХІІІ

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды земных рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствуется, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

ХІV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренне, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

ХV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

ХVІ

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело, — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако, вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей, и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо...

ХVІІ

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

— Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубочкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

— «Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими, вот, лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно.

Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила всю силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается мне моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «26 и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густой темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная

улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль; и вдруг — нет ее. Каждая мысль вливается в душу его точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлечательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— И слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий субъект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Не хорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно-острой; однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилиу столковался. Не правда ли—странно? Куются якорья, а не столы. Как же связаны эти глаголы—ковать и толковать? Не люблю филологов—они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво,—я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглom приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтобы написать его здоровым, у Достоевского нехватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надула губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и всё. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор обобщался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо-враждебно и любит наказывать ее, — если она не Китти и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это — вражда и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготавливая кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку

о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадающее в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком: «Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны». И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа: мы, вот, говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что непонятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе

и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах «господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— У вас где-то истолкованы эти слова, — сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... «Толк-от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как, по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васык Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — чорт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По... Лопатой, а? По самой по... И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Непременно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» — всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом.

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец, интендант — генерал куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ не влюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, — они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже ло-

шади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тебе! Ти — им лязить окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубашку, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял подмышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюшай! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, — в одном из его рассказов есть

такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спускать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. д.».

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с неперменным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе — гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» — Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая в воздухе:

— Тут хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит обезумевший убийца, может быть только анархическое

всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцену из пьесы «На дне», он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

— Везде у вас замечен петушиный наскок на всё. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свинья кожа остается», а у нас мужики говорят: «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит

просто, даже как будто бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит «почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер, ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров, и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. (Андрея Львовича) и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти вероятно на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила,

не спеша, красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок — оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшной, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевоитая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валеные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы, в самом деле, видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго постукивая пальцем по колену.

— Ведь, вы не пьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница, — «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это, вправду, страш-

но! Даже, если вы и придумали — очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так что даже скулы засияли.

— А, ведь, представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик, помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого сесть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пу-
стые — тёп, тёп, — а снежок поскрипывает! Да,
хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень!
Не сердитесь, только это плохо и будет мешать
вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он по-
казался мне на этот раз жестоким рационали-
стом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел от-
куда-то издалека, где люди иначе думают, чув-
ствуют, иначе относятся друг к другу, даже —
не так двигаются и другим языком говорят. Он
сидит в углу, усталый, серый, точно запылен-
ный пылью иной земли, и внимательно смотрит
на всех глазами чужого и немного.

Вчера, перед обедом, он явился в гостиную
именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и,
помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь,
потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет, — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно
утиг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился
ниже, заглядывая на террасу, где сидели док-
тор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве... — задумчиво, с паузой
повторил он, как будто впервые слыша это имя,

потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо
усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость;
кто-то сказал мне, что он прочитал на кладби-
ще такую надпись:

«Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил.
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар, и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели»

и еще что-то такое же... — Замолчал, потом, по-
качивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости, — когда она не
злая, — есть очень трогательное, даже милое...
Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, кото-
рые, выпив, становятся интересными, приобре-
тают несвойственное им, трезвым, остроумие,
красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда
я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Нико-
лаевичем по Тверской, Толстой издала заметил
двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов,
звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись
оба, лица их тоже сияли самодовольством силы
и молодости.

Толстой начал порицать их.

— Какая величественная глупость! Совер-

шенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота,— ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская, спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой, белой, войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородой:

— Он в бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг к другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий, и еще один, — кажется Петр Николае-

вич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он устоялся на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

— «Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое — бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужи-

чок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и, как будто, нарочно еще более съежившийся, он рядом с крепким, солидным татаринном казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал лохматые брови и, пугливо мигая острыми глазками, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтобы и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно ему. В сущности — он не спрашивает, а допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

Разбирая почту.

— Шумят, пишут, а — умру и, — через год, — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да, этот?

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который неожиданно для себя нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни он жил в тайной тревоге, все думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

— Ничего вы со мною не сделаете.

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устанешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо¹

Только что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, — еще не разьединенный мысленно с Вами — вновь пишу.

Вероятно, всё это мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, — уж Вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, — мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек

живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлющ и прежде всего человек, — человек чело-вечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей, тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неострашимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, Вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», — он всё знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравилось ему — поэту. Писатель национальный в самом истинном и всеобъемлющем значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все

¹ Письмо адресовано В. Г. Короленко.

недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, это все нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно-национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как Вы знаете и все знают. Знают — но расплзаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные, тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто-механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы все «разбредлись», и только, когда дошли до мест, хуже которых — не найдешь, дальше идти — некуда, ну — остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учувшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает — сознательно и бессознательно — лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего на-

пряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 1905 году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он — «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди жить хотят, а он убеждает их: это — пустыни, земная наша жизнь! Русский-то человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем, он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухов и не Нехлюдов, — все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди

своей. Но — несомненно и неопровержимо, что в целом Русь — Тюлин внизу, а наверху — Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует [1]905 год, а что Обломов — смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов — оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, — взгляните, как он пакостно-труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «не-что» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений», — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню

и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас»¹, ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, — он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует, со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я, ведь, люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «истина — не нужна», и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехався:

— Если человек научился думать, — про что бы то ни думал, — он всегда думает о своей

¹ Во время поездки по делам в Пензенскую губ. (1869) Л. Толстой остановился в гостинице города Арзамаса. Там он и испытал необъяснимую, но чрезвычайно тягостную тоску. Об этом он писал в письме к жене.

смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», — засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь, это ясно выходит...

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, — он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гёте каждое слово записывалось,

а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

— Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, лъзя или нельзя? Ведь, если бы он знал, видел бы призраки, — пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал А. Н. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренне рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, — с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И оттого всё, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, — и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутom вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, люди холодные, ибо верую живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно эдакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

— Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!

Увы, это так, надолго — так! И не могло, и не может быть иначе, ибо — замаялись люди,

измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нисколько. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрывается легонькая, острая усмешечка; ее можно понять, как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили-были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это не важно. Он — человек, взывающий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно

более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В[ойне] и М[ире]» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, — так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой¹.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, — лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обман-

чивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели все насквозь, — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды, — и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека, и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и все вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пылливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые

¹ Толстой умер 7 ноября 1910 года на станции Астапово, Рязано-Уральской железной дороги, в квартире начальника станции И. И. Озолина.

словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и закричат, а все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль.

— Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: — Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас

толку немного в этом, но все-таки — здравствуйте!

Быйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужичья борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

— Ах, родной ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

— Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашего великого художника...

И вдруг из-под мужичьей бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичом — возвращаться из

Ясной Поляны в Москву, так он долго отдыхать не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну, — баня! Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А, ведь, я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учения Лаотце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабанах, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — Да, сегодня я вас не люблю.

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — на-те! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и от-
ветил:

— Он писал плохо. Что у него за язык?
Больше знаков препинания, чем слов. Талант —
это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смот-
рите на влюбленных, — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно,
что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему же познакомиться с учением Конфу-
ция или буддистов, это успокоило бы его. Это —
главное, что нужно знать всем и всякому. Он
был человек буйной плоти, — рассердится — на
лысине у него шишки вскакивают и ушами дви-
гает. Чувствовал многое, а думал — плохо, он
у этих, у фурьеристов, учился думать, у Бута-
шевича и других. Потом — ненавидел их всю
жизнь. В крови у него было что-то еврейское.
Мнительный был, самолюбив, тяжел и несчастен.
Странно, что его так много читают, не пони-
маю — почему! Ведь, тяжело и бесполезно, по-
тому что все эти Идиоты, Подростки, Расколь-
никовы и всё — не так было, всё проще, по-
нятнее. А вот Лескова напрасно не читают, на-
стоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Стран-
но, что вы его любите, вы какой-то не русский,
у вас не русские мысли, — ничего, не обидно,
что я так говорю? Я — старик и, может, тепе-
решнюю литературу уже не могу понять, но мне
всё кажется, что она — не русская. Стали пи-
сать какие-то особенные стихи, — я не знаю, по-
чему это стихи и для кого. Надо учиться сти-
хам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, —
он обратился к Чехову, — вы русский! Да,
очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо,
а тот сконфузился и начал баском говорить что-
то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него,
точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти
нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по
дорожке парка с Александрой Львовной, а Тол-
стой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на
террасе, весь как-то потянулся вслед им, гово-
ря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек:
скромный, тихий, точно барышня! И ходит как
барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая
бровями, он читал вариант той сцены из «Отца
Сергия», где рассказано, как женщина идет со-
блазнить отшельника, прочитал до конца, при-
поднял голову и, закрыв глаза, четко выгово-
рил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, вос-
хищение красотой было так искренне, что я во-
век не забуду восторга, испытанного мною тог-
да, — восторга, который я не мог, не умел вы-
разить, но и подавить его мне стоило огромно-
го усилия. Даже сердце остановилось, а потом
все вокруг стало живоительно-свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб
понять особенную, невыразимую красоту его ре-
чи, как будто неправильной, избыточной повто-
рениями одних и тех же слов, насыщенной де-
ревенской простотой. Сила слов его была не
только в интонации, не в трепете лица, а в
игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие
я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз
в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах; он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьми-ка меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пылливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился Чаадаевский скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник Новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поража́л древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплиссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мною этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем,

что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и ясно-полянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «гипетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устривают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержичский, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить, и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я

не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы—о всепрощении, любви к ближнему, о евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжело и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах,—в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время—очень личное. Словно его однажды оскорбили, и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет,—это было в Хамовниках,—усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся—так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему—это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное—неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует художно,—это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обиде-

ла меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят—вы очень начитанный,— правда? Что, Короленко—музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это—по контрасту. Он—лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельмана?

— Да.

— Неправда ли—хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, починался влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса,—он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это не верно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы, действительно, много читали,—смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы—настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо—ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад, и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной

несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков» «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, считал нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем — представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки — настоящие мскроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукой любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, эдаким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человеческим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот-вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так удрал...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длинноротый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного в красном вине, вооруженный огромным холщевым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол, и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура — дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое.

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось — и думаю, я не ошибаюсь — Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачом, — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удастся москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы. — Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный. А рассказываете вы

лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насильем.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдуманно. А когда вы думаете — у вас рыцари роятся, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы. Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон, это хуже Костомарова, надо читать Момсена, — очень надоедливый, но — солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною — «Братья Земгано», он даже возмущился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н., — он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, — там рождаются только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знаковой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но, ведь, рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, кото-

рый идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямою мыслью, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

— Иду я, как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, всё ликует, небо безоблач-

но, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и всё кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие прелести земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

— Да, вот видите, что бывает. Природа, — ее богوميла считали делом дьявола, — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе, как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да, — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы —

как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве около Сухаревой, в глухом переулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь, — ужас! А на тумбе сидел светленький сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шопотом:

— Да, да, — ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много — ах, боже мой! Вы — не пишете об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил: — Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так... стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет, — нужно писать всё, обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер

их и — всё улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу, — сказал он. — Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И легонько толкая меня локтем:

— Вот и вы, — проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, — «ручьищее», говорят бабы... А писать всё надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суеются и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно-пышной, хвастливо-разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко-земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяй-

ство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, — это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно, я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, выискиваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже бывало с тобой. Вцепишься, поддержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н. — Нет, не все.

И неожиданно спросил меня — точно ударил:

— Вы почему не веруете в бога?

— Веры нет, Л. Н.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий и без бога вам нельзя. Это вы скоро почув-

ствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, бояться — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно, и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, неверующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

— Этот человек — богоподобен!

III. А. П. ЧЕХОВ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучу-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные

условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... уничтожать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, мне де-

лается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте — чаю дам, за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: — говорит так тепло, серьезно, искренне и вдруг усмехнется над собой и над речью своей, и в этой мяткой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него;

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот, учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставлял у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красивый от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно-застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее, и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолично загнутым к подбородку, сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется та-

кой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — 20 рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела божия поколотить безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно пораженный Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — чорт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое,

гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пушей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самым собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво-простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром...

— Ну, да, конечно! — Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованы...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно прятать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы приищем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве

наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему, как к субъекту, действовавшему без разума, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, — вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О, да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов, — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографией вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь грамматикой, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этикие прыщи на... сиденьи правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особо — ершей!

—

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и строгого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала — человек, постоянно рассуждающий с необходимости любви и милосердия к людям — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович,

хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так

серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По-латыни она называется *morbis pritvorialis*.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, — что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласка-

ют — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И когда он говорил так, — я не видел на его лице безгласности...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически-мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много — за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромн, он не позволял себе громко и открыто сказать людям:

— Да будьте же вы... порядочнее! — тиетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описы-

вал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно-человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мецанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные

«воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынные и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокостью ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада», — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг

себя, ничего не понимая — паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бесчисленных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наводнении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне, с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзале встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Манчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятные два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливает удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жесто-

ко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например, Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так

глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев»¹, я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эх-ма, кабы силы да поболее мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады все садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,

¹ Замысел этот до конца Горьким не осуществлен. Сохранились только наброски этой пьесы. (Горький, Сборник статей и воспоминаний, М. — Л. Гиз, 1928 г., стр. 335—365).

Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделал ее уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил:

— Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама в двенадцать часов ночи варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку» — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка... — О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренне уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал:

— Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии.

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море — неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами, разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама со-

бою, а люди — заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так не ровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: не могу отнестись к Горькому искренне, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого сильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб.

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

— Я говорю: Горький добрый. А он: нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить, значит — все уметь...

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулержичского. — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки кружевницы, «вековухи», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил, очень волнуясь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протираал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею! Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

IV. В. Г. КОРОЛЕНКО

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, — В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья, благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г-ий, их быстро напечатали¹, Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказали, что он хочет видеть меня.

¹ В «Волжском вестнике» (газета издавалась в Казани) тогда были напечатаны следующие произведения М. Горького: «Месть», «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины», «Разговор по душе», «Об одном поэте».

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот, вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, все аллегории пишете. Что же, — и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — недурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода — выщела. В сарпинковой рубаше синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ»¹.

— Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не сложно все у вас, шероховато, но — любопытно. Говорят — вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

¹ Подразумевается «Макар Чудра», напечатанный в газете «Кавказ», 1892 г., 12 сентября.

— Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти три года, почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой, и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом — «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь добродушно:

— Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю — мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюмин, — этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, — нате вам в оплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

— Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, — они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно на улицу, Короленко сказал:

— Чаще всего они бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и — кому бы на шею сесть?

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв предо мною правду, которую я смутно чувствовал.

— Хорошие рассказчики есть среди них, — продолжал Короленко. — Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» — это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

— На Вольгине и в Подольи — не были? Там — красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, — он живо воскликнул:

— Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

Человек искренне верующий, как веруют иные, не мудрые, сельские попики хорошего,

честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное и, как будто, он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

— Странно слышать это, — задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

— Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

— Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня — почва, на которой мы все растем и много чертополоха, много бесполезных соевых тояв. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но — он серьезно убеждал меня, что деревенское кудачество — прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню...

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

— Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он, несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печтаетесь, — чего же? Захотите посоветоваться — несите рукописи, потолкуем...

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но, почему-то, я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его согласно моде их и традициям тех подитико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренне не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

— Не думайте, что это мое орудие критики,—

сказал он, потрясая топором, — нет, это я полки в чулане устраивал. Но, — некоторое усекновение главы ожидает вас...

Лидо его добродушно сияло, глаза весело смеялись и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежее-выпеченным хлебом.

— Всю ночь — писал, а после обеда уснул; проснулся — чувствую: надо повозиться!

Он был непохож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески-внимательно настроенный ко всему миру.

— Ну-с, — начал он, взяв с стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, — прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе, да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, — я бы сказал барышне: — Недурно, а, все-таки, выходите замуж! Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки, — это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

— Еще в Тифлисе...

— То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви — болезнь возраста, это теория наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

— Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатую. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но — все-таки и снова — аллегория. Не доведут они

вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись.

— Странная какая-то вещь. Это — романтизм, а он — давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, — нет, не так?

— Возможно.

— Ага, вот видите! Я же — говорю: мы кое-что знаем о вас. Но — это недопустимо, личное — изгоняйте! Разумею — узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза — я смотрел на него всё с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

— Слушайте, — можно поговорить с вами запросто? Знаю я вас мало, слышу о вас — много, и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

— Но я женат.

— Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

— Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

— Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромасы была арестована типография «народовольцев», организованная им.

— Неугомонный человек, — задумчиво сказал В. Г. — Теперь — снова пошлют его куда-нибудь. Что он — здоров? Здоровеннейший мужик был...

Он вздохнул, повел широкими плечами.

— Нет, все это — не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело — хороший урок¹, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пошла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.

Известно, что в провинции живешь как под стеклянным колпаком, — все знают о тебе, знают, о чем ты думал в среду около двух часов и в субботу перед всенощной: знают тайные намерения твои и очень сердятся, если ты не оправдаешь пророческих догадок и предвидений людей.

Конечно, весь город узнал, что Короленко благосклонен ко мне, и я принужден был выслушать немало советов такого рода:

— Берегитесь, собьют вас с толка эта компания поумневших!

Полгазумевался популярный в то время рассказ П. Д. Боборыкина «Поумнел» — о револю-

ционер, который взял легальную работу в земстве, после чего он потерял дождевой зонтик и его бросила жена.

— Вы — демократ, вам нечему учиться у генералов, вы — сыны народа! — внушали мне.

Но я уже давно чувствовал себя пасынком народа, это чувство, от времени, усиливалось и, как я уже говорил, сами народопоклонники казались мне такими же пасынками, как я. Когда я указывал на это, — мне кричали:

— Вот видите, — вы уже заазились!

Группа студентов Ярославского лицея пригласила меня на пирушку, я что-то читал им, они подливали в мой стакан пива — водку, стараясь делать это незаметно для меня. Я видел их маленькие хитрости, понимал, что они хотят «вдребезги» напоить меня, но не мог понять — зачем это нужно им? Один из них, самолюбивый и чахоточный, убеждал меня:

— Главное — пошлите ко всем чертям идеи, идеалы и всю эту дребедень! Пишите — просто! Долой идеи...

Невыносимо надоедали мне все эти советы.

В. Г. Короленко, как всякий заметный человек, подвергался разнообразному воздействию обывателей. Одни, искренне ценя его внимательное отношение к человеку, пытались вовлечь писателя в свои личные, мелкие дразги, другие избрали его объектом для испытания легкой клеветой. Моим знакомым не очень нравились его рассказы.

— Этот ваш Короленко, кажется, даже в бога верует, — говорили мне.

Почему-то особенно не понравился рассказ «За иконой», находили, что это — «этнография», не более.

¹ Короленко говорил о деле Н. М. Астырева, помогавшего народовольцам и выданного провокаторшей Серебряковой.

— Так писал еще Павел Якушкин.

Утверждали, что характер героя-сапожника — взят из «Нравы Растеряевой улицы» Г. Успенского. В общем критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привез в Россию папуаса. Но — зачем же, именно, папуаса? И — почему только одного?

—

Рано утром я возвращался с поля, где гулял ночь, и встретил В. Г. у крыльца его квартиры.

— Откуда? — удивленно спросил он. — А я иду гулять, отличное утро! Пройдемтесь?

Он, видимо, тоже не спал ночь: глаза красны и сухи, смотрят утомленно, борода сбита в клочья, одет небрежно.

— Прочитал я в «Волгаре» вашего «Деда Архипа» — это недурная вещь, ее можно бы напечатать в журнале. Почему вы не показали мне этот рассказ, прежде чем печатать его? И почему вы не заходите ко мне?

Я сказал, что меня оттолкнул от него жест, которым он дал мне три рубля взаймы, он протянул мне деньги молча, стоя спиной ко мне. Меня это обидело. Занимать деньги в долг так трудно, я прибегал к этому только в случаях действительно крайней необходимости.

Он задумался, нахмурился:

— Не помню! Во всяком случае это было, если вы говорите, что было. Но вы должны извинить мне эту небрежность. Вероятно, я был не в духе, это часто бывает со мною последнее время. Вдруг, задумаюсь, точно в колодезь сва-

лился. Ничего не вижу, не слышу, но что-то слушаю и очень напряженно.

Взяв меня под руку, он заглянул в глаза мне.

— Вы забудьте это. Обижаться вам не на что, у меня хорошее чувство к вам, но что вы обиделись, это вообще — не плохо. Мы не очень обидчивы, вот это плохо! Ну, забудем. Вот что я хочу сказать вам: пишете вы много, торопливо, нередко в рассказах ваших видишь недоработанность, неясность. В «Архипе», — там, где описан дождь, — не то стихи, не то ритмическая проза. Это — нехорошо.

Он много и подробно говорил и о других рассказах, было ясно, что он читает все, что я печатаю, с большим вниманием. Разумеется, — это очень тронуло меня.

— Надо помогать друг другу, — сказал он в ответ на мою благодарность. — Нас — не много! И всем нам — трудно.

Понизив голос, он спросил:

— А вы не слышали, — правда, что в деле Ромаса и других запуталась некая девица Истомина?

Я знал эту девицу, познакомился с ней, вытащив ее из Волги, куда она бросилась вниз головою с кормы дощаника. Вытащить ее было легко, она пробовала утопиться на очень мелком месте. Это было бесцветное, неумное существо, с склонностью к истерии и болезненной любовью ко лжи. Потом она была, кажется, гувернанткой у Столыпина в Саратове и убита, в числе других, бомбой максималистов при взрыве дачи министра на Аптекарском острове.

Выслушав мой рассказ. В. Г. почти гневно сказал:

— Преступно вовлекать таких детей в рискованное дело. Года четыре тому назад или больше я встречал эту девушку. Мне она не казалась такой, как вы ее нарисовали. Просто — милая девчурка, смущенная явной неправдой жизни, из нее могла бы выработаться хорошая сельская учительница. Говорят, — она болтала на допросах? Но что же она могла знать? Нет, я не могу оправдать приношение детей в жертву Ваалу политики...

Он пошел быстрее, а у меня болели ноги, я спотыкался и отставал.

— Что это вы?

— Ревматизм.

— Рановато! О девочке вы говорили совсем неверно, на мой взгляд. А, вообще, вы хорошо рассказываете. Вот что, — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно.

Не помню, чтобы он еще когда-нибудь говорил со мною так обаятельно, как в это славанное утро, после двух дней непрерывного дождя, среди освеженного поля.

Мы долго сидели на краю оврага еврейского кладбища, любясь изумрудами росы на листьях деревьев и травах, он рассказывал о трагикомической жизни евреев «черты оседлости», а под глазами его все росли тени усталости.

Было уже часов девять утра, когда мы воротились в город. Прощаясь со мною, он напомнил:

— Значит — пробуете написать большой рассказ, решено?

Я пришел домой и тотчас же сел писать.

«Челкаша», рассказ одесского босняка, моего соседа по койке в больнице города Николаев; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.

Через несколько дней он привел к моему патрону¹ обиженных кем-то мужиков и сердечно, как только он умел делать, поздравил меня.

— Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...

Я был очень смущен его похвалой.

Вечером, сидя верхом на стуле в своем кабинете, он оживленно говорил:

— Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но, в то же время — романтик! И, вот что, вы сидите здесь не более четверти часа, а курите уже четвертую папиросу.

— Очень волнуюсь...

— Напрасно. Вы и всегда какой-то взволнованный, поэтому, видимо, о вас и говорят, что вы много пьете. Костей у вас — много, мяса — нет, курите — не нужно, без удовольствия, — что это с вами?

— Не знаю.

— А — пьете много, — есть слух?

— Врут.

¹ Адвокату А. И. Ланину, у которого Горький служил тогда письмоводителем.

— И какие-то оргии у вас там...

Посмеиваясь, пытливо поглядывая на меня, он рассказал несколько, не плохо сделанных, сплетен обо мне.

Потом памятно сказал:

— Когда кто-нибудь немножко высовывается вперед, его — на всякий случай — бьют по голове; — это изречение одного студента-петровца. Ну, так пустяки — в сторону, как бы они ни были любезны вам. «Челкаша» напечатаем в «Русском богатстве», да еще на первом месте, это некоторая отличка и есть. В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал, — хотите взглянуть?

Я отказался, конечно.

Расхаживая по тесной комнате, потирая руки, он сказал:

— Радует меня удача ваша.

Я чувствовал обаятельную искренность этой радости и любовался человеком, который говорит о литературе, точно о женщине, любимой им спокойной, крепкой любовью, — навсегда. Незабвенно хорошо было мне в этот час с этим лоцманом, я молча следил за его глазами, — в них сияло так много милой радости о человеке.

Радость о человеке — ее так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле.

Короленко остановился против меня, положил тяжелые руки свои на плечи мне.

— Слушайте, — не уехать ли вам отсюда? Например в Самару. Там у меня есть знакомый в «Самарской газете»? Хотите, я напишу ему, чтоб он дал вам работу? Писать?

— Разве я кому-то мешаю здесь?

— Вам мешают.

Было ясно, что он верит рассказам о моем пьянстве, «оргиях в бане» и вообще о «порочной» жизни моей, — главным пороком ее была нищета. Настойчивые советы В. Г. мне уехать из города несколько сбивали, но в то же время его желание извлечь меня из «недр порока» трогало за сердце.

Взволнованный, я рассказал ему, как живу, он молча выслушал, нахмурился, пожал плечами.

— Но ведь вы сами должны видеть, что все это совершенно невозможно и — чужой вы во всей этой фантастике! Нет, вы послушайте меня. Вам необходимо уехать, переменить жизнь...

Он уговорил меня сделать это.

Потом, когда я писал в «Самарской газете» плохие ежедневные фельетоны, подписывая их хорошим псевдонимом «Иегудиил Хламида», Короленко посылал мне письма, критикуя ocasionную работу мою насмешливо, внушительно, строго, но — всегда дружески.

Особенно хорошо помню я такой случай: мне до отвращения надоел поэт, носивший роковую для него фамилию — Скукин. Он присылал в редакцию стихи свои саженьями, они были неизлечимо малограмотны и чрезвычайно пошлы, их нельзя было печатать. Жажда славы внушила этому человеку оригинальную мысль: он напечатал стихи свои на отдельных листах розовой бумаги и роздал их по гастрономическим магазинам города, приказчики завертывали в эту бумагу пакеты чая, коробки конфет, консер-

вы, колбасы, и, таким образом, обыватель получал, в виде премии к покупке своей, поларшина стихов, в них торжественно воспевались городские власти, предводитель дворянства, губернатор, архиерей.

Каждый на свой лад, все эти люди были примечательны и вполне заслуживали внимания, но — архиерей являлся особенно выдающейся фигурой: он насильно окрестил девушку-татарку, чем едва не вызвал бунт среди татар целой волости, он устроил совершенно идиотский процесс хлыстов, по этому процессу были осуждены люди ни в чем неповинные, это я хорошо знал. Наиболее славен был такой подвиг его: во время поездки по епархии, в непогожий день у него сломалась карета около какой-то маленькой, заброшенной деревеньки, и он должен был зайти в избу крестьянина. Там, на полке, около божницы, он увидел гипсовую голову Зевса, разумеется — это поразило его. Из расспросов и осмотра других изб оказалось, что изображение владыки олимпийцев, а также и статуэтка богини Венеры есть и еще у нескольких крестьян, но никто из них не хотел сказать — откуда они взяли идолов?

Этого оказалось достаточно, чтоб возбудить уголовное дело о секте самарских язычников, которые поклонялись богам древнего Рима. Идолопоклонников посадили в тюрьму, где они и пробыли до той поры, пока следствие не установило, что ими убит и ограблен некий торговец гипсовыми изделиями Солдатской слободы в Вятке; убив торговца, эти люди дружески разделили между собой его товар и — только.

Одним словом: я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собою и

еще многим. Поэтому, в состоянии запальчивости и раздражения, и обругал поэта, воспевавшего ненавистное мне, приставив к его фамилии — Скукин, — слово — сын.

В. Г. тотчас прислал мне длинное и внушительное письмо на тему: даже и за дело ругая людей, следует соблюдать чувство меры. Это было хорошее письмо, но его при обыске отобрали у меня жандармы и оно пропало вместе с другими письмами Короленко.

Кстати — о жандармах.

Ранней весной [18]97 года меня арестовали в Нижнем и, не очень вежливо, отвезли в Тифлис. Там, в Метехском замке, ротмистр Конисский, впоследствии начальник Петербургского жандармского управления, допрашивая меня, уныло говорил:

— Какие хорошие письма пишет вам Короленко, а ведь он теперь лучший писатель России!

Странный человек был этот ротмистр: маленький, движения мягкие, осторожные, как будто неуверенные, уродливо большой нос грустно опущен, а бойкие глаза — точно чужие на его лице, и зрачки их забавно прячутся куда-то в переносицу.

— Я — земляк Короленко, тоже волынец, потомок того епископа Конисского, который — помните? — произнес знаменитую речь Екатерине Второй: «Оставим солнце» и т. д. Горжусь этим!

Я вежливо осведомился — кто больше возбуждает гордость его — предок или земляк?

— И тот и другой, конечно, и тот и другой!

Он загнал зрачки в переносицу, но тотчас громко шмыгнул носом, и зрачки выскочили на

свое место. Будучи болен и потому — сердит, я заметил, что плохо понимаю гордость человеком, которому чрезмерно любезное внимание жандармов так много мешало и мешает жить. Конисский благочестиво ответил:

— Каждый из нас — творит волю пославшего, каждый и все! Пойдемте далее. Итак, — вы утверждаете... А между тем, нам известно...

Мы сидели в маленькой комнатке над входными воротами замка. Окно ее помещалось очень высоко, под потолком, через него на стол, загроможденный бумагами, падал луч жаркого солнца, и, между прочим, — на позор мой, — освещал клочок бумаги, на котором мною было четко написано:

— Не упрекайте лососину за то, что гложет лось осину.

Я смотрел на эту проклятую бумажку и думал:

— Что я отвечу ротмистру, если он спросит меня о смысле этого изречения?

Шесть лет, — с [18]95 по [1]901 год, — я не встречал Владимира Галактионовича, лишь изредка обмениваясь письмами с ним.

В [1]901 году я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в моде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникла глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мое, испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, — в резиновых калошах ходит!

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала «Начало», — среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович.

Разумеется, мне было крайне приятно видеть благосклонные улыбки женщин, почти обожающие взгляды девиц и, вероятно, — как все молодые люди, только что ошарашенные славой, — я напоминал индейского петуха.

Но, бывало, ночами, наедине с собою, вдруг почувствуешь себя в положении непойманного уголовного преступника: его окружают шпионы, следователи, прокуроры, все они ведут себя так, как будто считают преступление несчастием, печальной «ошибкой молодости» и — только соизнайся! — они великодушно простят тебя. Но — в глубине души каждому из них непобедимо хочется уличить преступника, крикнуть в лицо ему торжествующе:

— Ага-а!

Нередко приходилось стоять в положении ученика, вызванного на публичный экзамен по всем отраслям знания.

— Како веруешь? — пытали меня начетчики сект и жрецы храмов.

Будучи любезным человеком, я сдавал экзамены, обнаруживая терпение, силе которого сам удивлялся, но после пытки словами у меня возникало желание проткнуть Исаакиевский собор Адмиралтейской иглою или совершить что-либо иное, не менее скандальное.

Где-то позади добродушия, почти всегда несколько наигранного, россияне скрывают нечто, напоминающее хамоватость. Это качество — а может быть, это метод исследования? — выражается очень разнообразно, главным же образом — в стремлении посетить душу ближнего, как ярмарочный балаган, взглянуть, какие в ней показываются фокусы, пошвырять, натоптать, насорить пустяков в чужой душе, а иногда — опрокинуть что-нибудь. И, по примеру Фомы, тыкать в раны пальцами, очевидно, думая, что скептицизм апостола равноценен любопытству обезьян.

В. Г. Короленко и в каменном Петербурге нашел себе старенький деревянный дом, провинциально уютный, с крашеным полом в комнатах, с ласковым запахом старости.

В. Г. поседел за эти годы, кольца седых волос на висках были почти белые, под глазами легли морщины, взгляд — рассеянный, усталый. Я тотчас почувствовал, что его спокойствие, раньше так приятное мне, заменилось нервозностью человека, который живет в крайнем напряжении всех сил души. Видимо, не дешево стоило ему Мультианское дело¹ и все, что он, как медведь, ворочал в эти трудные годы.

— Бессонница у меня, отчаянно надоедает. А вы, не считаясь с туберкулезом, все так же

¹ В 1892 году несколько вотяков, жителей села Старый Мультиан, были необоснованно обвинены в убийстве с целью языческого жертвоприношения. Царский суд осудил их на долгосрочную каторгу. Короленко принял в этом деле энергичное участие и с огромным трудом добился оправдания обвиняемых.

много курите? Как у вас легкие? Собираюсь в Черноморье, — едем вместе?

Сел за стол против меня и, выглядывая из-за самовара, заговорил о моей работе.

— Такие вещи, как «Варенька Олесева», удаются вам лучше, чем «Фома Гордеев». Этот роман — трудно читать, материала в нем много, порядка, стройности — нет.

Он выпрямил спину так, что хрустнули позвонки, и спросил:

— Что же вы — стали марксистом?

Когда я сказал, что — близок к этому, он не весело улыбнулся, заметив:

— Не ясно мне это. Социализм без идеализма — для меня непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики — мы не обойдемся.

И, прихлебывая чай, спросил:

— Ну, а как вам нравится Петербург?

— Город — интереснее людей.

— Люди здесь...

Он приподнял брови и крепко потер пальцами усталые глаза.

— Люди здесь более европейцы, чем москвичи и наши волжане. Говорят: Москва своеобразнее, — не знаю. На мой взгляд, ее своеобразие — какой-то неуклюжий, туповатый консерватизм. Там славянофилы, Катков и прочее, в этом духе, здесь — декабристы, петрашевцы, Чернышевский...

— Победоносцев, — вставил я.

— Марксисты, — добавил В. Г., усмехаясь. — И всякое иное заострение прогрессивной, то есть революционной мысли. А Победоносцев — то талантлив, как хотите! Вы читали его «Мо-

сковский сборник»? Заметьте — Московский все-таки!

Он сразу нервно оживился и стал юмористически рассказывать о борьбе литературных кружков, о споре народников с марксистами.

Я уже кое-что знал об этом, на другой же день по приезде в Петербург я был вовлечен в «историю», о которой я даже теперь вспоминаю с неприятным чувством; я пришел к В. Г. для того, чтобы, между прочим, поговорить с ним по этому поводу.

Суть дела такова: редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе организовал литературный вечер в честь и память Н. Г. Чернышевского, пригласив участвовать В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, П. Ф. Мельшина, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского и еще несколько марксистов и народников. Литераторы дали свое согласие, полиция — разрешение.

На другой день по приезде моем в Петербург ко мне пришли два щеголя-студента с кокетливой барышней и заявили, что они не могут допустить участия Поссе в чествовании Чернышевского, ибо: «Поссе человек, не приемлемый для учащейся молодежи, он эксплуатирует издателей журнала «Жизнь». Я уже более года знал Поссе и хотя считал его человеком оригинальным, талантливым, однако, — не в такой степени, чтобы он мог и умел эксплуатировать издателей. Знал я, что его отношения с ними были товарищеские, он работал как ломовая лошадь и, получая ничтожное вознаграждение, жил, с большой семьей, впроголодь. Когда я сообщил все это юношам, они заговорили о неопределенной политической позиции Поссе между народниками и марксистами, но — он сам понимал

эту неопределенность и статьи свои подписывал псевдонимом Вильде. Блюстители нравственности и правоверия рассердились на меня и ушли, заявив, что они пойдут ко всем участникам вечера и уговорят их отказаться от выступлений.

В дальнейшем оказалось, что «инцидент в его сущности» нужно рассматривать не как выпад лично против Поссе, а «как один из актов борьбы двух направлений политической мысли», — молодые марксисты находят, что представителям их школы неуместно выступать перед публикой с представителями народничества «изношенного, издыхающего». Вся эта премудрость была изложена в письме, обширном как доклад и написанном таким языком, что, читая письмо, я почувствовал себя иностранцем. Вслед за письмом, от людей мне неизвестных, я получил записку П. Б. Струве, — он извещал меня, что отказывается выступить на вечере, а через несколько часов другой запиской сообщил, что берет свой отказ назад. Но — на другой день отказался М. И. Туган-Барановский, а Струве прислал третью записку, на сей раз с решительным отказом и, как в первых двух, без мотивации оного.

В. Г., посмеиваясь, выслушал мой рассказ об этой канители и юмористически грустно сказал:

— Вот, — пригласят читать, а выйдешь на эстраду — схватят, снимут с тебя штаны и — выпорют!

Расхаживая по комнате, заложив руки за спину, он продолжал вдумчиво и не громко:

— Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карье-

ристы-социалисты. Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его — не видно!

Впервые я наблюдал Короленко настроенным так озабоченно и таким усталым. Было очень грустно.

К нему пришли какие-то земцы из провинции, и я ушел. Через два-три дня он уехал куда-то отдыхать, и я не помню, встречался ли с ним после этого свидания.

Встречи мои с ним были редки, я не наблюдал его непрерывно, изо дня в день, хотя бы на протяжении короткого времени.

Но каждая беседа с ним укрепляла мое представление о В. Г. Короленко, как о великом гуманисте. Среди русских культурных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаждою «правды-справедливости», человека, который так проникновенно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в жизнь.

После смерти А. Н. Толстого он писал мне:

«Толстой, как никто до него, увеличил количество думающих и верующих людей. Мне кажется, вы ошибаетесь, утверждая, что это увеличено за счет делающих или способных к делу. Человеческая мысль всегда действительна, только разбудите ее, и стремление ее будет направлено к истине, справедливости».

Я уверен, что культурная работа В. Г. разбудила дремавшее правосознание огромного количества русских людей. Он отдавал себя делу справедливости с тем редким, целостным напряжением, в котором чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глубокой, рели-

гиозной страсти. Он как бы видел и ощущал справедливость, как все лучшие мечты наши, она — призрак, созданный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы.

В ущерб таланту художника, он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

Суровые формы революционной мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце, сердце человека, который страстно любил красоту-справедливость, искал слияния их во единое целое. Но он крепко верил в близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом.

В [1]908 г. он писал:

«Все, что делают сейчас, через несколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жива».

В [18]87 г. он закончил свой рассказ «На затмении» стихами Н. Берга:

На святой Руси петухи поют,
Скоро будет день на святой Руси.

Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтобы ускорить расцвет этого дня.

У. О ТОМ, КАК Я УЧИЛСЯ ПИСАТЬ

Товарищи!

Во всех городах, где удалось мне побеседовать с вами, многие из вас спрашивали устно и записками: как я научился писать? Спрашивали меня об этом письмами со всех концов СССР рабселькоры, военкоры и вообще начинающая литературную работу молодежь. Многие предлагали мне «написать книгу о том, как надо сочинять художественные рассказы», «выработать теорию литературы», «издать учебник литературы». Такой учебник я не могу, не сумею сделать, да к тому же такие учебники, — хотя и не очень хорошие, но все-таки полезные, — уже есть.

Необходимо для начинающих писать знание истории литературы, для этого полезна книга В. Келтуяла «История литературы», изданная Госиздатом; в ней хорошо изображен процесс развития устного — «народного» — творчества и письменного — «литературного». В каждом деле нужно знать историю его развития. Если бы рабочие каждой отрасли производства, а еще лучше — каждой фабрики, знали, как она возникла, как постепенно развивалась, совер-

шенствовала производство, — рабочие работали бы лучше, чем они работают, с более глубоким пониманием культурно-исторического значения их труда, с большим увлечением.

Нужно знать также историю иностранной литературы, потому что литературное творчество, в существе своем, одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной внешней связи, не в том, что Пушкин дал Гоголю тему книги «Мертвые души», а сам Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна, из книги «Сентиментальное путешествие»; не важно и тематическое единство «Мертвых душ» с «Записками Пиквикского клуба» Диккенса, — важно убедиться в том, что издавна, всюду плелась и всюду плетется сеть «для уловления человеческой души», что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений. Важно знать, что всюду хотели и хотят успокоить человека в приятных ему пустяках и везде, всегда были и есть мятежники, которые стремились, стремятся поднять бунт против грязной и подлой действительности. И очень важно знать, что, в конце концов, мятежники, указывая людям путь вперед, толкая их на этот путь, все-таки преодолевают работу проповедников успокоения и примирения с мерзостями действительности, созданной классовым господством, буржуазным обществом, которое заразило и заражает трудовой народ подлейшими пороками жадности, зависти, лени, отвращения к труду.

История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее истории че-

ловека, — человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века. Сказочные успехи науки, быстрота ее роста объясняются именно тем, что ученый знает историю развития своей специальности. Между наукой и художественной литературой есть много общего: и там, и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение; художнику, так же как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой — «интуицией». Воображение, догадка дополняют недостающие, еще не найденные звенья в цепи фактов, позволяя ученому создавать «гипотезы» и теории, направляющие более или менее безошибочно и успешно поиски разума, который изучает силы и явления природы и, постепенно подчиняя их разуму и воле человека, создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая «вторая природа».

Это всего лучше подтверждается двумя фактами: знаменитый химик Дмитрий Менделеев создал на основании изучения всем известных элементов — железа, свинца, серы, ртути и т. д. «периодическую систему элементов», которая утверждала, что в природе должно существовать множество других элементов, никем еще не найденных, не открытых; он указал и признаки — удельный вес — каждого из этих элементов, никому не известных. Ныне все они открыты, а кроме их, методом Менделеева, найдены и еще некоторые, существования которых и он не предполагал.

Другой факт: Гонорий Бальзак, один из величайших художников, француз, романист, наблюдая психологию людей, указал в одном из своих романов, что в организме человека на-

верное действуют какие-то мощные, не известные науке соки, которыми и объясняются различные психо-физические свойства организма. Прошло несколько десятков лет, наука открыла в организме человека несколько ранее неизвестных желез, вырабатывающих эти соки — «гормоны», и создала глубоко важное учение о «внутренней секреции». Таких совпадений между творческой работой ученых и крупных литераторов — немало. Ломоносов, Гете были одновременно поэтами и учеными, так же как романист Стриндберг, — он первый в своем романе «Капитан Коль» заговорил о возможности добывать азот из воздуха.

Искусство словесного творчества, искусство создания характеров и «типов», требует воображения, догадки, «выдумки». Описав одного знакомого ему лавочника, чиновника, рабочего, литератор сделает более или менее удачную фотографию именно одного человека, но это будет лишь фотография, лишенная социально-воспитательного значения, и она почти ничего не даст для расширения, углубления нашего познания о человеке, о жизни.

Но если писатель сумеет отвлечь от каждого из 20—50, из сотни лавочников, чиновников, рабочих наиболее характерные классовые черты, привычки, вкусы, жесты, верования, ход речи и т. д., — отвлечь и объединить их в одном лавочнике, чиновнике, рабочем, этим приемом писатель создаст «тип», — это будет искусство. Широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружают художника силою, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм. Бальзак субъективно был приверженцем буржуазного строя, но в сво-

их романах он изобразил пошлость и подлость мещанства с поразительной, беспощадной ясностью. Есть много примеров, когда художник является объективным историком своего класса, своей эпохи. В этих случаях значение работы художника равноценно с работой ученого естествознателя, который исследует условия существования и питания животных, причины размножения и вымирания, изображает картины их ожесточенной борьбы за жизнь.

В борьбе за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Познание — это способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни, короче говоря: познание — есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения.

Мы читаем и слышим: «ветер плачет», «стонет», «задумчиво светит луна», «река нашептывала старые былины», «лес нахмурился», «волна хотела сдвинуть камень, он морщился под ее ударами, но не уступал ей», «стул крикнул, точно селезень», «сапог не хотел влезать на ногу», «стекла запотели», — хотя у стекол нет потовых желез.

Все это делает явления природы как бы более понятными для нас и называется «антропоморфизмом», от греческих слов: антропос — человек и морфе — форма, образ. Тут мы замечаем, что человек придает всему, что видит, свои человеческие качества — воображает, вно-

сит их всюду — во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи. Есть люди, которым кажется, что антропоморфизм не уместен и даже вреден в искусстве словесном, но люди эти сами говорят: «мороз щипал уши», «солнце улыбалось», «наступил май»; они не могут не говорить: «дождь идет», хотя дождь не обладает ногами, «погода подлая», хотя явления природы не подлежат нашим моральным оценкам.

Один из древнегреческих философов — Ксенофан — утверждал, что если бы животные обладали способностью воображения, то львы представили бы себе бога огромным и непобедимым львом, крысы — крысой и т. д. Вероятно, комариный бог был бы комаром, а бог туберкулезной бактерии — бактерией. Человек вообразил бога своего всеведущим, всесильным, всетворящим, то есть наделил его лучшими своими стремлениями. Бог — только человеческая «выдумка», вызванная «томительно бедной жизнью» и смутным стремлением человека сделать своей силой жизнь более богатой, легкой, справедливой, красивой. Бог вознесен людьми над жизнью, потому что лучшим качествам и желаниям людей, зародившимся в процессе их труда, не было места в действительности, где идет тяжелая борьба за кусок хлеба. Мы видим, что когда передовые люди рабочего класса осознали, как следует перестроить жизнь для того, чтобы их лучшее получило свободу развития, — бог стал ненужен им, как выдумка уже пережитая. Исчезла необходимость прятать свое хорошее в бога, потому что понятно, каким путем воплотить это хорошее в живую, земную действительность.

Бог создан так же, как создаются литературные «типы», по законам абстракции и конкретизации. «Абстрагируются» — выделяются — характерные подвиги многих героев, затем эти черты «конкретизируются» — обобщаются в виде одного героя, скажем Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца: выделяются черты, наиболее естественные в каждом купце, дворянине, мужике, и обобщаются в лице одного купца, дворянина, мужика, таким образом получаем «литературный тип». Этим примером созданы типы Фауста, Гамлета, Дон-Кихота, и так же Лев Толстой написал кроткого, «богом убитого» Платона Каратаева, Достоевский — различных Карамазовых и Свидригайловых, Гончаров — Обломова и т. д.

Таких людей, каковы перечисленные, в жизни не было; были и есть подобные им, гораздо более мелкие, менее цельные, и вот из них, мелких, как башни или колокольни из кирпичей, художники слова додумали, «вымыслили» обобщающие «типы» людей, — нарицательные типы. Всякого лгуна мы уже называем Хлестаков, подхалима — Молчалин, лицемера — Тартюф, ревнивца — Отелло и т. д.

Основными «течениями» или направлениями в литературе считаются два: романтизм и реализм. Реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни. Формул романтизма дано несколько, но точной, совершенно исчерпывающей формулы, с которой согласились бы все историки литературы, пока еще нет, она не выработана. В романтизме необходимо различать тоже два, резко различных направления: пассивный романтизм, — он пытается или примирить человека с

действительностью, прикрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о «роковых загадках жизни», о любви, о смерти, — к загадкам, которые не разрешимы путем «умозрения», созерцания, а могут быть разрешены только наукой. Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее.

Но по отношению к таким писателям-классикам, каковы Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, трудно сказать с достаточной точностью, — кто они, романтики или реалисты? В крупных художниках реализм и романтизм всегда как будто соединены. Бальзак — реалист, но он писал и такие романы, как «Шагреневая кожа», произведение очень далекое от реализма. Тургенев тоже писал вещи в романтическом духе, так же как и все другие крупнейшие наши писатели, от Гоголя до Чехова и Бунина. Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира.

Взаимное отношение реализма и романтизма будет для вас, товарищи, яснее, если вы установите внимание ваше на вопросе: «почему возникает желание писать?» На этот вопрос есть два ответа; один из них дает моя корреспондентка, дочь рабочего, девушка 15 лет. Она говорит в письме своем:

«Мне 15 лет, но в такой ранней молодости во мне появился писательский талант, причиной которого послужила томительно бедная жизнь».

Было бы, конечно, правильной, если бы она сказала не «писательский талант», — а желание писать, для того, чтобы украсить своей «выдумкой», обогатить ею «томительно бедную жизнь». Тут возникает вопрос: о чем же можно писать, живя «бедной жизнью»?

На него отвечают инородческие племена Поволжья, Приуралья, Сибири. Многие из них еще вчера не имели письменности, но уже за десятки веков до наших дней они обогащали и украшали свою «томительную бедную жизнь» в глухих лесах, на болотах, в пустынных степях Востока и тундры Севера песнями, сказками, легендами о героях, вымыслами о богах; замыслы эти именуются «религиозным творчеством», но в существе своем они тоже художественное творчество.

Если бы у моей 15-летней корреспондентки действительно появился бы талант, — чего я, разумеется, от всей души желаю, — она, вероятно, писала бы так называемые «романтические» вещи, старалась бы обогатить «томительно бедную жизнь» красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть. Гоголь написал «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветских помещиков», «Мертвые души», он же написал и «Тараса Бульбу». В первых трех вещах им изображены люди с «мертвыми душами», и это — жуткая правда; такие люди жили и живут еще до сего дня; изображая их, Гоголь писал как «реалист».

В повести «Тарас Бульба» он изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко пики не может выдержать пятипудовую тяжесть,

переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них — красивая неправда. Тут, как во всех рассказах «Рудого Панька» и во многих других, Гоголь — романтик и, вероятно, потому романтик, что устал наблюдать «томительно бедную» жизнь «мертвых душ».

Человек всё еще во многом зверь, но вместе с этим он — культурно — всё еще подросток, и приукрасить его, похвалить — весьма полезно: это поднимает его уважение к себе, это способствует развитию в нем доверия к своим творческим силам. К тому же похвалить человека есть за что, — всё хорошее, общественное творится его силою, его волей.

Значит ли, что тем, что сказано выше, я утверждаю необходимость романтизма в литературе? Да, защищаю, но при условии весьма существенного дополнения к «романтизму».

Другой корреспондент мой, 17 лет, рабочий, кричит мне: «У меня так много впечатлений, что не писать я не могу».

В этом случае стремление писать объясняется уже не бедностью жизни, а богатством ее, перегруженностью впечатлениями, внутренним позывом рассказать о них. Подавляющее большинство моих молодых корреспондентов хотят писать именно потому, что они богаты впечатлениями бытия, «не могут молчать» о том, что они видели, испытали. Из них выработается, вероятно, немало «реалистов», но я думаю, что в их реализме будут и некоторые признаки романтизма, который неизбежен и законен в эпоху здорового духовного подъема, а мы переживаем именно такой подъем.

Итак, на вопрос: почему я стал писать? отвечаю: по силе давления на меня «томительно

бедной жизни» и потому, что у меня было так много впечатлений, что «не писать я не мог». Первая причина заставила меня попытаться внести в «бедную» жизнь такие вымыслы, «выдумки», как «Сказка о соколе и уже», «Легенда о горящем сердце», «Буревестник», а по силе второй причины я стал писать рассказы «реалистического» характера — «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы», «Озорник».

По вопросам о нашем «романтизме» необходимо знать еще следующее. До Чехова — рассказы «Мужики», «В овраге», и Бунина — «Деревня», все его рассказы о крестьянах, — дворянская наша литература любила и прекрасно умела изображать крестьянина человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную «Христову правду», которой нет места в действительности, но о которой всю жизнь мечтают мужики, подобные Калинычу Тургенева из рассказа «Хорь и Калиныч» и Платону Каратаеву из «Войны и мира» Толстого. Таким кротким и выносливым мечтателем о «божеской правде» начали изображать крестьянина лет за 20 до отмены крепостного права, хотя в то время крепостная деревня уже обильно выдвигала из своей темной среды талантливых организаторов промышленности: Кокоревых, Губониных, Морозовых, Колчиных, Журавлевых и т. д. Вместе с этим процессом всё чаще в журналистике вспоминалась колоссальная легендарная фигура выходца из «мужиков» — Ломоносова, поэта и одного из крупнейших ученых.

Фабриканты, судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место рядом с дворянством и, подобно древнеримским рабам-«вольнотпущенникам», садились за

один стол со своими владыками. Крестьянская масса, выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрытую в ней, массе. Но дворянская литература как будто не видела, не чувствовала этого и не изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни, реальнейшего человека — строителя, стяжателя, «хозяина», продолжая любовно изображать кроткого раба, совестливого Поликушку. В 1852 году Лев Толстой пишет очень грустный очерк «Утро помещика», прекрасно рассказывая о том, как рабы не верят доброму, либеральному владыке. С 1862 года Толстой начинает воспитывать крестьянских детей, отрицать «прогресс» и науку, убеждает: учитесь хорошо жить у мужика, а с 70-х годов пишет рассказы для «народа», изображая в них христоролюбивых, романтизированных мужиков, учит, что самая праведная и блаженная жизнь — в деревне, самый святой труд — мужицкий труд «на земле». А затем в рассказе «Много ли человеку земли нужно» он говорит, что земли надобно человеку всего три аршина, только на могилу.

Жизнь уже создавала из кротчайших христоролюбцев строителей новых форм экономической жизни, талантливых крупных и мелких «буржуа», хищников Разуваевых и Колупаевых, избранных Глебом Успенским, а рядом с хищниками — и мятежников, революционеров. Но все эти люди не замечались литературой дворян. Гончаров, в романе «Обломов», — одним из самых лучших романов нашей литературы, — противопоставил русскому обленившемуся до слабоумия барину — немца, а не одного из «бывших» русских мужиков, среди которых он, Гончаров, жил и которые уже начинали командо-

вать экономической жизнью страны. Если писатели-дворяне изображали революционера, так это был или чужеземец-болгарин или бунтовщик на словах Рудин. Волевой, активный русский человек, как герой эпохи, оставался в стороне от литературы, где-то — «за пределами поля зрения» литераторов, хотя он заявлял о себе довольно шумно, — бомбами. Можно привести очень много доказательств того, что активный, призывающий к жизни, к деянию романтизм был чужд русской дворянской литературе. Шиллера она не смогла создать и вместо «Разбойников» превосходно изображала «Мертвые души», «Живой труп», «Мертвые дома», «Живые мощи», «Три смерти» и еще множество смертей. «Преступление и наказание» Достоевским написано как будто тоже в противовес «Разбойникам» Шиллера, а «Бесы» Достоевского — самая талантливая и самая злая из всех бесчисленных попыток опорочить революционное движение 70-х годов.

Литературе разночинцев-интеллигентов активный социально-революционный романтизм тоже был чужд. Разночинец был слишком занят своей личной судьбой, поисками своей роли в драме жизни. Разночинец жил «между молотом и наковальней», молот — самодержавие, наковальня — «народ».

Повести Слепцова «Трудное время» и Осиповича-Новодворского «Записки ни павы, ни вороны» — очень правдивые, сильные произведения — рисуют трагическое положение умных людей, которые не имеют прочной опоры в жизни и живут «ни павами, ни воронами» или же становятся благополучными мещанами, как об этом рассказал Куцевский и замечательно талантливый, умный, недостаточно ценимый Помя-

ловский в своих повестях «Молотов» и «Мещанское счастье». Кстати, обе его повести весьма современны и очень полезны для наших дней, когда оживающий мещанин довольно успешно начинает строить для себя дешевенькое благополучие в стране, где рабочий класс заплатил потоками крови своей за свое право строить социалистическую культуру.

Так называемые писатели-народники — Златовратский, Засодимский, Вологдин, Левитов, Нефедов, Бажин, Николай Успенский, Эртель, отчасти Станюкович, Каронин-Петропавловский и много других — усердно и в тон дворянской литературе занимались идеализацией деревни, крестьянина, который представлялся народникам социалистом по натуре, не знающим иной правды, кроме правды «общины», «мира» — коллектива. Первым, кто внушил такой взгляд на крестьянство, был блестяще талантливый барин А. И. Герцен, его проповедь продолжал Н. К. Михайловский, изобретатель двух правд: «правды истины» и «правды справедливости». Влияние этой группы литераторов на «общество» было не прочно и кратковременно, их «романтизм» отличался от романтизма дворян только слабой талантливостью, их мечтатели — мужички «Минаи», «Митяи» — плохие копии с портретов «Поликушки», «Калиныча», «Караева» и прочих преподобных мужичков.

Примыкая к этой группе, но будучи более зоркими социально и талантливее всех, даже вместе взятых, народников, работали два очень крупных литератора: Д. Н. Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский. Они первые почувствовали и отметили разноречие деревни и города, рабочего и крестьянина. Особенно ясно было это

Успенскому, автору двух замечательных книг: «Нравы Растеряевой улицы» и «Власть земли». Социальная ценность этих книг не утрачена и для наших дней, да и вообще рассказы Успенского не потеряли своего воспитательного значения; литературная молодежь может хорошо поучиться у этого писателя умению наблюдать и широте знаний действительности.

Выразителем резко отрицательного отношения к идеализации деревни является А. П. Чехов в его упомянутых рассказах «Мужики», «В овраге» и в рассказе «На даче», а особенно резко это отношение выражено И. Буниным в повести «Деревня» и во всех его рассказах о крестьянстве. Крайне характерен тот факт, что так же беспощадно изображают деревню писатели-крестьяне Семен Подъячев и Иван Вольнов, очень талантливый, все более заметно растущий писатель¹. Темы — жизнь деревни, психика крестьянина, — живые темы наших дней, крайне важные, это начинающие литераторы должны хорошо понять.

Из всего сказанного достаточно ясно следует, что в нашей литературе не было и нет еще «романтизма», как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно. А проповедь эта необходима, если мы действительно не хотим возвратиться к мещанству, и далее — через мещанство — к возрождению классового го-

сударства, к эксплуатации крестьян и рабочих паразитами и хищниками. Именно такого «возрождения» ждут, о нем мечтают все враги Союза Советов; именно, ради того, чтобы понудить рабочий класс к восстановлению старого, классового государства, они экономически блокируют Союз. Литератор-рабочий должен ясно понимать, что противоречие между рабочим классом и буржуазией — непримиримо, что разрешит его только полная победа или же гибель. Вот из этого трагического противоречия, из трудности задач, которые повелительно возложены историей на рабочий класс, и должен возникнуть тот активный «романтизм», тот пафос творчества, та дерзость воли и разума и все те революционные качества, которыми богат русский рабочий-революционер.

Разумеется, мне известно, что путь к свободе очень труден и не пришло еще время всю жизнь спокойно пить чай в приятной компании с красивыми девушками или сидеть сложа руки перед зеркалом и «любоваться своей красотой», к чему склонны очень многие молодые люди. Действительность всё более настойчиво внушает, что при современных условиях спокойной жизни не устроишь, счастлив не будешь ни вдвоем, ни в одиночку, что мещанско-кулацкое благополучие не может быть прочным, — основы этого благополучия всюду в мире сгнили. Об этом убедительно говорят озлобление, уныние и тревога мещан всего мира, панические стоны европейской литературы, отчаянное веселье, которым богатый мещанин пытается заглушить свой страх перед завтрашним днем, болезненная жажда дешевых радостей, развитие половых извращений, рост преступности и само-

¹ Горький писал свою статью в 1928 году. Вольнов умер в 1930 году.

убийств. «Старый мир», поистине, смертельно болен, и необходимо очень торопиться «отрясти его прах с наших ног», чтобы гнилое разложение его не заражало нас.

В то время как в Европе идет процесс внутреннего распада человека, у нас, в трудовой массе, развивается крепкая уверенность в своей силе и в силе коллектива. Вам, молодежи, необходимо знать, что уверенность эта всегда возникает в процессе преодоления препятствий на пути к лучшему и что эта уверенность — самая могучая творческая сила. Надобно знать, что в «старом мире» человекна — а потому и неоспоримо ценна — только наука; все же «идеи» старого мира, — за исключением идеи социализма, — не человечесны, потому что так или иначе пытаются установить и оправдать законность «счастья» и власти единиц, в ущерб культуре и свободе трудовой массы.

Не помню, чтобы я, в юности, жаловался на жизнь; люди, среди которых я начал жить, очень любили жаловаться, но, заметив, что они это делают из хитрости, для того чтобы скрыть в жалобах свое нежелание помочь друг другу, — я старался не подражать им. Затем я довольно скоро убедился, что больше всего любят жаловаться люди, не способные к сопротивлению, не умеющие или не желающие работать, и вообще люди со вкусом к «легкой жизни» за счет ближних.

Страх перед жизнью был хорошо испытан мною; теперь я называю этот страх — страхом слепого. Живя — как об этом рассказано мною — в обстановке весьма тяжелой, я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражен тя-

жестью труда одних и животным благополучием других; рано понял, что чем «ближе к богу» считают себя люди религиозные, чем дальше они от тех, кто работает на них, тем более беспощадна их требовательность к рабочим людям; вообще, видел всякой мерзости житейской гораздо больше, чем ее видите вы. Кроме того, я ее видел в формах более отвратительных, потому что перед вами болтается мещанин, испуганный революцией и уже не очень уверенный в своем праве быть таким, каков он есть по природе своей; а я видел мещанство совершенно уверенным, что оно живет хорошо и что эта его хорошая, спокойненькая жизнь установилась прочно, навсегда.

В ту пору я уже прочитал переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс и Бальзак, а также исторические романы Энсворта, Бульвер-Литтона, Дюма. Эти книги рассказывали мне о людях сильной воли, резко очерченного характера; о людях, которые живут иными радостями, страдают иначе, враждуют из-за несогласий крупных. А вокруг меня мелкие людишки жадничали, завидовали, озлоблялись, дрались и судились из-за того, что сын соседа перебил камнем ногу курице или разбил стекло в окне; из-за того, что пригорел пирог, переварилось мясо во щах, скисло молоко. Они могли целыми часами сокрушаться о том, что лавочник накинуд еще копейку на фунт сахара, а торговец мануфактурой — на аршин ситца. Маленькие несчастья соседей вызывали у них искреннюю радость, они прятали ее за фальшивым сочувствием. Я хорошо видел, что именно копейка служит солнцем в не-

бесах мещанства и что это она зажигает в людях мелкую и грязную вражду. Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, до рвоты, — вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить. Эта отвратительная жизнь вызывала у меня то снотворную, притупляющую скуку, то желание озорничать, чтобы разбудить себя. Вероятно о такой же скуке недавно писал мне один из моих корреспондентов, человек 19 лет: «Всем своим трепетом ненавижу эту скуку с примусами, сплетнями, собачьим визгом».

И вот иногда эта скука взрывалась бешеным озорством; ночью, влезая на крышу, я затыкал печные трубы тряпками и мусором; подбрасывал в кигевшие щели соль, вдувал из бумажной трубки пыль в механизм стальных часов, вообще делал много такого, что называется хулиганством; делал это потому, что, желая почувствовать себя живым человеком, я не знал, не находил иных способов убедиться в этом. Казалось, что я заблудился в лесу, в густом буреломе, перепутанном цепким кустарником, в перегное, куда нога уходит по колено.

Помню такой случай: улицей, на которой я жил, водили арестантов из тюрьмы на пароход, который по Волге и Каме отвозил их в Сибирь; эти серые люди всегда вызывали у меня странное тяготение к ним; может быть, я завидовал тому, что вот они под конвоем, а некоторые — в кандалах, но все-таки идут куда-то, тогда как я должен жить, точно одинокая крыса в подвале, в грязной кухне с кирпичным полом. Однажды шла большая партия, побрякивая кандалами, шагали каторжники; крайними к панели

шли двое скованных по руке и по ноге; один из них, большой, чернобородый, с лошадиными глазами, с глубоким красным шрамом на лбу, с изуродованным ухом, — был страшен. Разглядывая его, я пошел по панели, а он вдруг весело и громко крикнул мне:

«Айда, парнишка, прогуляйся с нами!»

Он этими словами, как будто, за руку взял меня.

Я тотчас подбежал к нему, — конвойный, обругав меня, оттолкнул. А если бы не оттолкнул, я пошел бы, как во сне, за этим страшным человеком, пошел бы именно потому, что он необыкновенен, не похож на людей, которых я знал; пусть он страшен и в кандалах, только бы уйти в другую жизнь. Я долго помнил этого человека и веселый, добрый голос его. С его фигурой у меня связано другое, тоже очень сильное впечатление: в руки мне попала толстая книга с оторванным началом; я стал читать ее и ничего не понял, кроме рассказа на одной странице о короле, который предложил простому стрелку звание дворянина, на что стрелок ответил королю стихами:

Ах, дай мне жить и кончить жизнь свободным

селянином,

Отец мой был мужик простой, — мужик мне будет сыном.

Ведь славы больше в том, когда наш брат, простой

людин,

Окажется крупней в делах, чем знатный господин.

Я списал тяжелые эти стихи в тетрадь, и они много лет служили мне чем-то вроде по-

соха страннику, а может быть и щитом, который защищал меня от соблазнов и скверных поучений мещан, — «знатных господ» той поры. Вероятно в жизни многих юношей встречаются слова, которые наполняют молодое воображениедвигающей силой, как попутный ветер наполняет парус.

Лет через десять я узнал, что это стихи из «Комедии о веселом стрелке Джордже Грине и о Робин Гуде», комедии, написанной в XVI веке предшественником Шекспира — Робертом Грин. Очень обрадовался, узнав это, и еще больше полюбил литературу, издревле верного друга и помощника людям в их трудной жизни.

Да, товарищи, страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною; дошел я и до попытки убить себя, а затем, на протяжении многих лет, вспоминая эту глупость, чувствовал жгучий стыд и презрение к себе.

Я избавился от этого страха после того, как понял, что люди не так злы, как невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня, — а испуган я моей социальной и всяческой малограмотностью, моей незащищенностью, безоружностью пред жизнью. Именно так. И мне кажется, что вам следует особенно хорошо подумать над этим, потому что страхи, стоны и жалобы кое-кого из вашей среды тоже не что иное, как результат ощущаемой жалобщиками безоружности пред жизнью и их недоверия к своей способности бороться против всего, чем извне, — а также изнутри, — угнетает человека «старый мир».

Вы должны знать, что люди, подобные мне, были одиночками и пасынками «общества», а

вас — уже сотни, и вы — родные дети трудного класса, который осознал свои силы, обладает властью и быстро учится ценить по заслугам полезную работу единиц. Вы имеете в лице рабоче-крестьянской власти — власть, которая должна и может помочь вам развить свои способности до совершенства, что она, постепенно, и делает. И делала бы гораздо более успешно, если бы ей не мешала жить и работать буржуазия, ее и ваш кровный враг.

Вам нужно запастись верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий, воспитанием воли, «тренировкой» ее. Необходимо учиться побеждать в себе и вне себя дрянненькое наследие прошлого, а иначе — как же вы «отречетесь от старого мира»? Эту песню не стоит петь, если нет сил, нет желания делать то, чему она учит. Уже и маленькая победа над собою делает человека на много сильнее. Вы знаете, что, тренируя свое тело, человек становится здоровым, выносливым, ловким, а также следует тренировать свой разум, свою волю.

Вот одно из замечательных достижений такой тренировки: недавно в Берлине демонстрировалась женщина, которая, держа в каждой руке по два карандаша, а пятый в зубах, могла одновременно писать пять различных слов, на пяти разных языках. Это казалось бы совершенно невероятным и не потому, что физически трудно, а потому, что требует неестественного раздробления мысли, однако, — это факт. С другой стороны, факт этот указывает, как, в сущности, бесплодно тратит человек свои блестящие способности в хаотическом буржуазном обществе, где для того, чтобы обратить на

себя внимание, нужно ходить по улицам вверх ногами, устанавливать — едва ли практически полезные — рекорды скоростей движения, играть в шахматы одновременно с двадцатью противниками, достигать невероятнейших «трюков» в акробатике и стихосложении, вообще героически и головоломно фокусничать для развлечения скуки пресыщенных людей.

Вам, молодежь, надобно знать, что всё действительно ценное, навсегда полезное и прекрасное, чего достигло человечество в области науки, искусства, техники, — создано единицами, которые работали в условиях невыразимо трудных, при глубоком невежестве «общества», враждебном сопротивлении церкви, своекорыстии капиталистов, при капризных требованиях «мecenатов» — «покровителей науки, искусства». Надо помнить также, что среди творцов культуры много простых рабочих, каким был знаменитый физик Фарадей, каков Эдисон; что прядильный станок изобрел цырюльник Аркрайт, одним из лучших художников-гонимых был кузнец Бернар Палисси; величайший драматург мира Шекспир — простой актер, таков же великий Мольер, — таких примеров успешной «тренировки» людьми своих способностей можно насчитать сотни.

Всё это оказалось возможным для единиц, работавших, не имея того огромного запаса научных знаний, технических удобств, которыми обладает наша современность. Подумайте же, насколько облегчены задачи культурной работы у нас, в государстве, где поставлено целью полное раскрепощение людей от бессмысленного труда, от цинической эксплуатации рабочей силы, — от эксплуатации, которая создает быстро

вырождающихся богачей и грозит вырождением трудовому классу.

Перед вами стоит совершенно ясное и великое дело «отречения от старого мира» и создания нового. Дело это начато. И, по примеру нашего рабочего класса, всюду растет. И какие бы препятствия ни ставил этому делу старый мир, — оно будет развиваться. К нему постепенно готовится рабочий народ всей земли. Создается атмосфера сочувствия работе единиц, которые теперь являются уже не осколками коллектива, а передовыми выразителями творческой воли его.

Перед такой целью, впервые смело поставленной во всей ее широте, вопрос: «Что делать?» не должен бы иметь места. «Трудно жить»? Да так ли уже трудно? И не потому ли трудно, что возросли потребности, что хочется много такого, о чем отцы ваши и не думали, чего они и не видели? И не стали ли вы излишне требовательны?

Я знаю, разумеется, что среди вас есть уже немало таких, которым понятна радость и поэзия коллективного труда, — труда, который стремится не к тому, чтобы накопить миллионы копеек, а к тому, чтобы уничтожить пакостную власть копейки над человеком, самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле.

Отвечаю на вопрос: как я учился писать?

Впечатления я получал и непосредственно от жизни, и от книг. Первый порядок впечатлений можно сравнить с сырьем, а второй — с полуфабрикатом или, — говоря грубо, чтобы сказать яснее, — в первом случае передо мной был скот, а во втором — снятая с него отлично обработанная кожа. Я очень многим обязан

иностранный литературе, особенно — французской.

Мой дед был жесток и скуп, но — я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака «Евгения Гранде». Отец Евгении, старик Гранде, тоже скуп, жесток и вообще похож на деда моего, но он глупее и не так интересен, как мой дед. От сравнения с французом русский старик, не любимый мною, выиграл, вырос. Это не заставило меня изменить мое отношение к деду, но это было большим открытием — книга обладает способностью доказывать мне о человеке то, чего я не вижу, не знаю в нем.

Скучная книга Джоржа Эллиота «Мидльмарч», книги Ауэрбаха, Шпильгагена показали мне, что в английской и немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем-Новгороде, на Звездинской улице, но — немногим лучше. Говорят о том же, о своих английских и немецких копейках, о необходимости страха перед богом и любви к нему, однако они, так же как люди моей улицы, — не любят друг друга, а особенно не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. Сходства между иностранцами и русскими я не искал, нет, я искал различий, но находил сходство.

Приятель деда, разорившиеся купцы Иван Щуров, Яков Котельников рассуждали о том же и так же, как люди в знаменитом романе Теккерея «Базар житейской суеты». Я учился грамоте по Псалтырю и очень любил эту книгу, — она говорит прекрасным музыкальным языком. Когда Яков Котельников, мой дед и вообще старики жаловались друг другу на

своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида богу на сына своего, бунтовщика Авессалома, и мне казалось, что старики говорят неправду, доказывая один другому, что люди вообще, а молодые в особенности, живут всё хуже, становятся глупее, ленивее, строптивы, не богобоязненны. Точно то же говорили лицемерные герои Диккенса.

Внимательно прислушиваясь к спорам сектантских начетчиков с попами, я замечал, что и те и другие так же крепко держатся за слово, как церковники других стран, что для всех церковников слово — узда человеку и что есть писатели очень похожие на церковников. В этом сходстве я скоро почувствовал что-то подозрительное, хотя — интересное.

Никакой системы и последовательности в моем чтении, конечно, не было, всё совершалось случайно. Брат моего хозяина Виктор Сергеев любил читать французские «бульварные» романы Ксавье де Монтепена, Габорио, Законна, Бувье, а прочитав этих авторов, наткнулся на русские книги, в которых насмешливо и враждебно описывались «нигилисты-революционеры». Я тоже прочитал «Панургово стадо» Вс. Крестовского, «Некуда» и «На ножах» Стебницкого-Лескова, «Марево» Клюшникова, «Взбаламученное море» Писемского. Интересно было читать о людях, почти ничем не похожих на людей, среди которых я жил, а скорее родственников каторжника, приглашавшего меня «прогуляться» с ним. «Революционность» этих людей осталась, конечно, не понятой мною, что и входило в задачи авторов, которые писали «революционных» одной сажой.

Случайно попались в мои руки рассказы По-

мяловского «Молотов» и «Мещанское счастье». И вот, когда Помяловский показал мне «томительную бедность» мещанской жизни, нищенство мещанского счастья, я, хотя и смутно, а все-таки почувствовал, что мрачные «нигилисты» чем-то лучше благополучного Молотова. А вскоре за Помяловским мною была прочитана скучнейшая книга Зарубина «Темные и светлые стороны русской жизни», светлых сторон я в ней не нашел, а темные стороны стали для меня понятней и противней.

Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения.

Иностранная литература, давая мне обильный материал для сравнения, удивляла меня своим замечательным мастерством. Она рисовала людей так живо, пластично, что они казались мне физически ощутимыми, и притом я их видел всегда более активными, чем русские, — они меньше говорили, больше делали.

Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня, как писателя, оказала «большая» французская литература — Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы, таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. После множества «бульварных» романов, после Майн-Рида, Купера, Густава Эмара, Понсон дю Террайля, — рассказы вели-

ких художников вызывали у меня впечатление чуда.

Помню, — «Простое сердце» Флобера я читал в Троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, — так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и, — я не выдумываю, — несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаюсь найти между строк разгадку фокуса.

Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю «Итальянские хроники» Стендаля и снова не могу понять — как же это сделано? Человек описывает жестоких людей, мстительных убийц, а я читаю его рассказы точно «жития святых» или слышу «Сон богородицы» — повесть о ее «хождении по мукам» людей в аду.

И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака «Шагреневая кожа» прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многословие которого я как будто слышу. Но главное — в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира.

Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и когда я впервые увидел картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книги Гонкуров и угрюмая, темными красками, живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже «93-й год» я прочитал равнодушно; причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познакомился с романом Анатоля Франса «Боги жаждут». Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть.

Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло не плохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике, и у них учиться искусству слова.

«Большую русскую литературу — Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова я читал значительно позднее. Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, всё еще не оцененный по заслугам перед нашей литературой. А. П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. То же, я думаю, мог бы сказать и А. Ремизов.

Указываю на эти взаимные связи и влияния для того, чтобы повторить: знание истории развития иностранной и русской литературы необходимо писателю.

Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие; это смущало и настраивало меня беспокойно, говорливо. Даже читая книги таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях «Записок охотника» иначе, не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, «босяки», плотники, железнодорожные рабочие, «странники по святым местам» и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах, я всё чаще ловил себя на том, что рассказывал неверно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя, из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литературы сливались у меня в единое целое. Книга — такое же явление жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком.

Слушали меня интеллигенты и советовали:

— Пишите! Попробуйте писать.

Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить всё, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно в исте-

рике, стоял «ком в горле» и мне хотелось кричать, что стекольщик Анатолий, — мой друг, талантливейший парень, — погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза — хороший человек, и несправедливо, что она — проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что «Матица», старуха нищая, — умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева.

Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весною тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга — красивая река, крендельщик Кузин — Иуда Предатель, а жизнь — сплошное свинство и тоска, убивающая душу.

Стихи писал я легко, но видел, что они — отвратительны, и презирал себя за неумение, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу — не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав, однако, стиль прозы «ритмической», находя простую — непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои

размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», — статья говорила о теории эволюции. Из нее в памяти моей осталась только одна фраза:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», — и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции.

Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я одобрил рассказ «чем-то похожим на стихи». Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница, — описание ливня в степи, — написана мною именно этой проклятой «ритмической». Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то поющими фразами, например, так: «Лучи луны прошли сквозь ветви кизила и цепкие кусты держи-дерева», и потом, в печати, мне было стыдно убедиться, что «лучи луны» читаются, как лучины, а «прошли» — нето, слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня «извозчик извлек из кармана кисет», — эти три «из» рядом не очень украшали «томительно бедную жизнь». Вообще я старался писать «красиво».

«Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь, на тень свою, она вздрагивала», — а ночь по моим же словам — была тихая, лунная, такими ночами фонарей не зажигали, тень не могла вздрагивать, если нет ветра и огонь горит спокойно. Такие «описки» и «обмолвки» встречались почти в каждом моем рассказе, и я жестоко ругал себя за это.

«Море смеялось», — писал я и долго верил, что это — хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.

«А печь стоит у вас не так», — заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А. П. Чехов сказал мне о Медынской в «Фоме Гордееве»:

«У нее, батенька, три уха, одно — на подбородке, смотрите!» Это было верно, — так неудачно я посадил женщину к свету.

Такие, будто мелкие, ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, «чтобы словам было тесно, мыслям — просторно», чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движения, ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело — «окрашивать» словами людей и вещи, другое — изобразить их так «пластично», живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как часто хочется потрогать героев «Войны и мира» у Толстого.

Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами и пестрый городок Окуров посреди

ее — как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони»¹.

Мне показалось, что я написал хорошо, но когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет.

Вообще — слова необходимо употреблять с точностью самой строгой. Вот пример из другой области: было сказано — «Религия — опиум».

Но врачи дают опиум больным, как средство, утоляющее боль, значит — опиум полезен человеку. А о том, что опиум курят, как табак, и что от курения опиума люди погибают, что опиум — яд, значительно более вредный, чем водка-алкоголь, — широким массам неизвестно.

Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова поэта:

Нет на свете мук сильнее муки слова².

Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд в книжке «Муки слова», изданной Госиздатом в 1927 году.

Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию «молодых товарищей по перу».

«Холоден и жалок нищий наш язык», — сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэтов не жаловался на «нищету» языка.

Я думаю, что это — жалобы на «нищету» не русского, а вообще человеческого языка и вызывает их то, что есть чувствования и мысли неуловимые, невыразимые словом. Именно об

¹ Из произведения Горького «Городок Окуров» (1909—1910).

² Из стихотворения С. Я. Надсона, начинающегося словами «Милый друг, — я знаю, я глубоко знаю».

этом прекрасно говорит книжка Горнфельда. Но, минуя «неуловимое словом», русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов — лексиконы — Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова. Последний сам в печати заявил, что он идет от Достоевского, он мог бы сказать, что в некоторых отношениях — укажу на оценку разума — он зависим и от Льва Толстого. Но обе его зависимости таковы, что свидетельствуют лишь о значительности молодого писателя и отнюдь не скрывают своеобразия его. В романе «Вор» он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он уже дал целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонид — человек какой-то «своей песни», очень оригинальной, он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, ни кто иной.

Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

Художник — чувствилец своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он — голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время,

тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно, необходимо знать историю народа и так же необходимо знать его социально-политическое мышление. Ученые, — историки культуры, этнографы, — указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках. Именно пословицы и поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительной, и начинающим писателям крайне полезно знакомиться с этим материалом, не только потому, что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности, а вот почему: количественно преобладающим населением Страны Советов является крестьянство, та глина, из которой история создавала рабочих, мещан, купцов, попов, чиновников, дворян, ученых и художников. Мышление крестьянства наиболее усердно воспитывалось церковниками государственной церкви и отколовшимися от нее сектантами. Оно издавна приучено думать в готовых окостеневших формах, какими и являются пословицы и поговорки, большинство которых не что иное, как сжатые поучения церковников. «Сильную руку — богу судить», «Подумаешь — горе, раздумаешь — божья воля», «Где смерд подумал, там и бог не был», «Ты богу угоди, а сам думать — погоди», «Тихе едешь — дальше будешь», «Не в свои сани не садись», «Всяк сверчок знай свой шесток», — существуют сотни таких пословиц, и в любой из них легко можно открыть спрятанные за словами поучения библейских пророков, «отцов церкви» Иоанна Златоуста, Ефима Сирина, Кирилла Иерусалимского и других.

Когда я читал книги «консерваторов», «охранителей и защитников самодержавного строя», в книгах этих я не находил ничего нового для себя именно потому, что каждая страница их повторяла в развернутой форме, — в расширенном толковании, — ту или другую из пословиц, с детства знакомых мне. Было совершенно ясно, что вся премудрость консерваторов — К. Леонтьева, К. Победоносцева и других — пропитана той «народной мудростью», в которой наиболее крепко сжата церковность.

Есть, разумеется, значительное количество пословиц другого смысла, например: «Нам — жить в кротости, а нас палкой по кости», «Богом барину — телятина жарена, а мужику — хлебушка краюха, да — в ухо», «Живем — не тушим, бар не хуже, они — на охоту, мы — на работу, они — спать, а мы — опять, они выпяты, да — за чай, а мы — цепями качай».

Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и развертывать слова, крепко сжатые другими, развертывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мертвое.

Я очень много учился на пословицах, — иначе: на мышлении афоризмами. Помню такой случай: мой приятель, балагур Яков Солдатов, дворник, метет улицу. Метла новенькая и не омызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул веселым глазом и сказал:

«Хороша метла, а сорье — не вымести до тла, я его подмету, а соседи поднесут».

Мне стало ясно: дворник верно сказал. Если даже и соседи подметут участки свои, — ветер нагонит сору с других улиц; если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог, из других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима, но она будет богаче результатами, если ее расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю.

Так можно развернуть поговорку, а вот пример того, как она создается: в Нижнем-Новгороде начались заболевания холерой, и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но, проработав некоторое время, мещанин, будто бы, благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:

«Окунувшись башкой в правду — врать не станешь!»

Баранов был человек грубый, но не глупый, я думаю, что он мог сказать такие слова. А, впрочем, всё равно, кто сказал их.

Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, «бывших» и всяких других людей я находил в книгах одетыми в другие слова, таким образом факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга.

О том, как создаются мастерами слова «типы» и характеры, я уже говорил выше, но может быть следует указать два интересных примера:

«Фауст» Гёте — один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое

всегда «выдумка», вымысел или, вернее, «домысел» и — воплощение мысли в образ. «Фауста» я прочитал, когда мне было лет двадцать, а через некоторое время узнал, что лет за двести до немца Гёте о Фаусте писал англичанин Христовор Марлоу, что польский «лубочный» роман «Пан Твардовский» — тоже «Фауст», так же как роман француза Поля Мюссе «Искатель счастья» и что основой всех книг о Фаусте служит средневековое народное сказание о человеке, который в жажде личного счастья и власти над тайнами природы, над людьми продал душу свою чорту. Сказание это выросло из наблюдений над жизнью и работой средневековых ученых «алхимиков», которые стремились делать золото, выработать эликсир бессмертия. Среди этих людей были честные мечтатели, «фанатики идей», но были и шарлатаны, обманщики. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь «вышей власти» — и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам чорт не помог достичь всезнания, бессмертия.

А рядом с несчастной фигурой Фауста была создана фигура, тоже известная всем народам: в Италии это — Пульчинелло, в Англии — Понч, в Турции — Карапет, у нас — Петрушка. Это — непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и всё: полицию, попов, даже чорта и смерть, сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что — в конце концов — именно он преодолает всё и всех.

Эти два примера еще раз подтверждают сказанное выше: «анонимное» творчество, то есть

творчество каких-то неизвестных нам людей¹, тоже подчиняется законам абстракции, отвлечения характерных черт той или иной общественной группы, и конкретизации, обобщения этих черт в одном лице этой группы. Строгое подчинение художника этим законам и помогает ему создавать «типы». Так Шарль де Костер сделал «Тиля Уленшпигеля» — национальный тип фламандца, Ромен Роллан — бургондца Кола Бреньона, Альфонс Додэ — провансальца Тартарена. Создавать такие яркие портреты «типичных» людей возможно только при условии хорошо развитой наблюдательности, умения находить сходство, видеть различия, только при условии учиться, учиться и учиться. Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из десяти догадок девять — ошибки.

Я не считаю себя мастером, способным создавать характеры и типы, художественно равноценные типам и характерам Обломова, Рудина, Рязанова и т. д. Но все же для того, чтобы написать «Фому Гордеева», я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, неудовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, «томительно бедной жизни», — мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей в одну сторону выходили пьяницы, «прожигатели жизни», хулиганы, а в другую — отлетали «белые вороны», как Савва Морозов, как пермский пароходчик Н. А. Мешков, снабжав-

¹ Мы имеем право назвать это творчество «народным», потому что оно возникало, наверное, в цехах ремесленников для представления на сцене в дни цеховых праздников. *Примечание Горького.*

ший средствами партию эсеров, калужский заводчик Гончаров, москвич Н. Шмит и еще многие. Отсюда же выходили и такие культурные деятели, как череповецкий городской голова Милютин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много работавших в области науки, искусства и т. д. Крестный отец Фомы Гордеева, Маякин, тоже сделан из мелких черточек, из «пословиц», и я не ошибся: после 1905 года, — после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, — Маякины, как известно, играли немалую роль в борьбе против рабочего класса, да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда.

Молодежь ставит мне вопрос: почему я писал о «босьяках»?

Потому что, живя в среде мелкого мещанства, видя пред собой людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать ее в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как 19-летний корреспондент мой, «всем своим трепетом» возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года.

Босьяки явились для меня «необыкновенными людьми». Необыкновенно в них было то, что они, люди «деклассированные», оторвавшиеся от своего класса, отвергнутые им, — утратили наиболее характерные черты своего классового облика. В Нижнем, в «Миллионке», среди «золотой роты» дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, кротким мечтателем, с художником-итальянцем Тонтини, учителем

гимназии Гладковым, бароном Б., с помощником полицейского пристава, долго сидевшим в тюрьме за грабеж, и со знаменитым воров «Николкой-генералом», настоящая фамилия которого была Фандер-Флит.

В Казани, на «Стекланном заводе», жило человек двадцать таких же разношерстных людей. «Студент» Радлов или Радунов; старик-тряпичник, отбивший десять лет каторги; бывший лакей губернатора Андриевского Васька Грачик; машинист Родзиевич, сын священника, белорусс; ветеринар Давыдов. В большинстве своем люди эти были нездоровы, алкоголики, жили они не без драк между собою, но у них хорошо было развито чувство товарищеской взаимопомощи, всё, что им удавалось заработать или украсть, — пропивалось и проедалось вместе. Я видел, что хотя они живут хуже «обыкновенных людей», но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег. А некоторые из них могли бы копить, в них еще остались признаки «хозяйственности» и любовь к «порядочной» жизни. Копить они могли бы потому, что Васька Грачик, ловкий и удачливый вор, приносил им нередко свою добычу и сдавал ее «казначее» Родзиевичу, который распоряжался «хозяйством завода» бесконтрольно и был удивительно мелкий, безвольный человек.

Помню несколько сцен такого рода: кто-то украл и принес хорошие охотничьи сапоги; решено было пропить их. Но Родзиевич, больной, за несколько дней перед этим избитый полицией, сказал, что пропить следует только голенищи, а головки отрезать и дать «Студенту», он ходит в развалившихся опорах.

«Застудит ноги — сдохнет, а человек хороший».

Головки отрезали, но старый каторжанин предложил сшить из голенищ две пары лаптей, одну — для себя, другую — для Родзиевича. Так и не пропили сапоги. Грачик объяснял свою дружбу с этими людьми и щедрую помощь им своей любовью к «образованным».

«Я, брат, образованного человека люблю пуще красивейшей женщины», — говорил он мне. Это был странный человек, черноволосый, с тонким красивым лицом, с хорошей улыбкой; всегда задумчивый, малословный, он вдруг взрывался буйным, почти бешеным весельем, плясал, пел, рассказывал о своих удачах, обнимался со всеми, точно уходил на войну, на смерть. На его средства в Задней Мокрой улице, где теперь Московский вокзал, — в подвале трактира Бутова кормилось человек восемь каких-то нищих, стариков и старух, а среди них молодая сумасшедшая женщина с годовалым ребенком. Вором он стал так: будучи лакеем губернатора, провел ночь с своей возлюбленной, а утром, возвращаясь домой, похмельный, выхватил у бабы-молочницы стойку молока и начал пить; его схватили, стал драться; строгий мировой судья Колонтаев, великий либерал, посадил его в тюрьму. Васька, отсидев срок наказания, залез в кабинет Колонтаева, изорвал у него бумаги, стащил будильник, бинокль и снова попал в тюрьму. Я познакомился с ним, когда его после неудачной кражи в Татарской слободе преследовали ночные сторожа, одному из них я подставил ногу, этим помог Василию убежать и сам побежал с ним.

Странные были люди среди босяков, и много

я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни «обывателей» говорили насмешливо, иронически, но не из чувств скрытой зависти, не потому, что «видит око, да зуб неймет», а как будто из гордости, из сознания, что живут они — плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет «хорошо».

Изображенного мною в «Бывших людях» sostenителя ночлежки Кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю и потерпевшему — трактирщику, избитому Кувалдой. Также изумлен был я беззлой насмешливостью одесского босняка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе «Челкаш». С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу. — «Так и пустил я его с деньгами; иди, болван, ешь кашу!»

Он мне напомнил благородных героев Дюма. Из больницы мы вышли вместе, и, сидя со мною в люнетах лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил: — «Может — займешься со мною хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет».

Я был очень польщен этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство.

Так вот чем объясняется мое пристрастие к

«босьякам» — желанием изображать людей «необыкновенных», а не людей нищеватого, мещанского типа. Тут, конечно, сказалось и влияние иностранной и прежде других французской литературы, более красочной и яркой, чем русская. Но главным образом тут действовало желание прикрасить за свой счет — «вымыслом» — «томительно бедную жизнь», о которой говорит 15-летняя девушка.

Это желание, как я уже сказал, называется «романтизмом». Некоторые критики считали мой романтизм отражением философского идеализма. Я думаю, что это неправильно.

Философский идеализм учит, что над человеком, животными и над всеми вещами, которые человек создает, существуют и главенствуют «идеи»; они служат совершеннейшими образцами всего, творимого людьми, и человек, в деятельности своей, вполне зависит от них, вся его работа сводится к подражанию образцам, «идеям», бытие которых он, якобы, смутно чувствует. С этой точки зрения, где-то над ними существует идея кандалов и двигателя внутреннего сгорания, идея туберкулезной бактерии и скорострельного ружья, идея жабы, мещанина, крысы и вообще всего, что существует на земле и что создается человеком. Совершенно ясно, что отсюда вытекает неизбежность признать бытие творца всех идей, какое-то существо, зачем-то создающее орла и вошь, слона и лягушку.

Для меня не существует идеи вне человека, для меня именно он и только он является творцом всех вещей и всех идей, именно он — чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши

мысли, все идеи возникают из трудового процесса, в чем убеждает нас история развития искусства, науки, техники. Мысль приходит после факта. Пред человеком я потому «преклоняюсь», что кроме воплощений его разума, его воображения, его домысла — не чувствую и не вижу ничего в нашем мире. Бог есть такая же человечья выдумка, как, например, «светопись», с той разницей, что «фотография» фиксирует действительно сущее, а бог — снимок с выдумки человека о себе самом, как о существе, которое хочет — и может — быть всезнающим, всемогущим и совершенно справедливым.

И если уж надобно говорить о «священном», — так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим; священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд.

VI. БЕСЕДА С МОЛОДЫМИ

Большинство людей думает и рассуждает не для того, чтобы исследовать явления жизни, а потому, что спешит найти для своей мысли спокойную пристань, торопится установить различные «беспорные истины». Эта поспешность фабрикации беспорностей особенно свойственна критикам и весьма вредно отражается на работе беллетристов. В глубоко ответственной работе литераторов аксиоматичность, догматизм и вообще «кустарное» производство беспорностей неизбежно ведет к ограничению, к искажению смыслов живой, быстро изменяющейся действительности. Мудрый человек Энгельс совершенно правильно указал, что «наше учение — не догма, а руководство к действию», а все наши действия по общему их смыслу сводятся к «изменению старого мира», к созданию нового. Мы живем и работаем в эпоху сказочно быстрых процессов разрушения «старого мира», — процессов, причины коих были всесторонне, тщательно изучены и предреканы. Разрушаются — «изжили себя» — классовые общества. Еще недавно они хвастались своей железной стойкостью, принимая обилие социальных пороков за наличие творческих

сил. В наши дни буржуазия всего мира, наглядно обнаруживая бессилие, бездарность, демонстрирует единственную силу свою — политический цинизм. Выдвигая на посты своих вождей авантюристов, прибегая к террору, как единственному приему самозащиты, лавочники всех стран объявили единственным средством спасения своего организацию различных отбросов человечества (жуликов, истериков, дегенератов и людей, ошеломленных страхом гибели от голода) в армию бандитов, которые под командой полиции должны истреблять силу здоровую, способную к социальному творчеству — революционный пролетариат. Мы, литераторы Союза Советов, недостаточно ясно представляем себе смысл и значение процессов распада сил буржуазии и ее попыток создать защиту себе из продуктов распада. О жизнеспособности, талантливости, о мощных запасах творческих сил пролетариата с неоспоримой очевидностью говорят миру шестнадцатилетний героический труд пролетариев Союза Советов и фантастические результаты этого труда. Мы, литераторы Союза Советов, всё еще не имеем должного представления ни о степени мощности этого труда, ни о разнообразии и обилии его успехов. Мы забываем, что наша страна еще недавно была варварски малограмотной, глубоко отравленной всяческими суевериями и предрассудками, что одной из характерных ее особенностей является долговечность древних уродств — «пережитков старины».

Еще не так давно в нашей стране соха заменяла плуг, и, как всюду в мире, мы тратили массу труда и времени для натачивания различных режущих инструментов. И вот у нас в наши

дни открыто, что любой режущий инструмент может самозатачиваться в процессе его работы, что дает нам сотни миллионов экономии во времени и на материале. Этот факт — как многие подобные малоизвестный — является достоверным доказательством в пользу нашей способности не только догнать, но и перегнать мощную технику Европы и С. Америки. Мы уже обогнали буржуазию количеством интеллектуальной энергии, и у нас как нигде в мире заботятся о повышении качества ее. Мы будем обгонять буржуазию не только потому, что она уже пресытилась техникой и за исключением техники истребления людей отказывается от дальнейшего развития техники производства общественно-полезных вещей, находит ее разорительной, порицает, проклинает. А в это время у нас быстро растет количество людей, которые понимают, что всякое новое открытие в области техники есть открытие взаимодействия сил существующих, но еще не освоенных нами. С полной, крепко обоснованной нашим трудовым опытом уверенностью можно сказать, что мы работаем в мире возможностей, которые безгранично превышают всё сущее, всё созданное тысячелетиями разнообразного человеческого труда. У буржуазии этой уверенности нет, буржуазия уже и не нуждается в ней. Она уже сокращает в своей среде рост количества интеллектуальной энергии, заменяя эту энергию воспитанием в людях зоологической воли к самозащите, к защите мецанских гнезд, нор, логовищ. Все ее стремления в теории и практике сводятся к одному: как остановить пролетариат на его путях к власти? Как обессилить его? Обессиливают, заставляя массы рабочих голодать, создавая из мелкой

буржуазии шайки бандитов, убийц, истребляя наиболее энергичных вождей пролетариата. Для того чтоб наша литература поняла свою ответственность пред ее страной и научилась достойно исполнять свой великий долг, необходимо внимательное и серьезное изучение картины мира, современного нам. Стремление к расширению поля зрения, к познанию современной действительности и даже к повышению технической квалификации — такое стремление не очень заметно среди наших литераторов, особенно среди «признанных».

Из каких элементов складывается художественная литература, создание словами образов, типов, характеров, отражение посредством слов событий действительности, картин природы, процессов мышления?

Первоэлементом литературы является язык, основное орудие ее и — вместе с фактами, явлениями жизни — материал литературы. Одна из наиболее мудрых народных загадок определяет значение языка такими словами: «Не мед, а ко всему льнет». Этим утверждается, что в мире нет ничего, что не было бы названо, наименовано. Слово — одежда всех фактов, всех мыслей. Но за фактами скрыты их социальные смыслы, за каждой мыслью скрыта причина, почему та или иная мысль именно такова, а не иная. От художественного произведения, которое ставит целью своей изобразить скрытые в фактах смыслы социальной жизни во всей их значительности, полноте и ясности, требуется четкий, точный язык, тщательно отобранные слова. Именно таким языком писали «классики», вырабатывая его постепенно, в течение столетий. Это подлинно литературный язык, и хотя его черпали из

речевого языка трудовых масс, он резко отличается от своего первоисточника, потому что, изображая описательно, он откидывает из речевой стихии все случайное, временное и непрочное, капризное, фонетически искаженное, не совпадающее по различным причинам с основным «духом», т. е. строим общеплеменного языка. Само собой ясно, что речевой язык остается в речах изображаемых литератором людей, но остается в количестве незначительном, потребном только для более пластической, выпуклой характеристики изображаемого лица, для большего оживления его. Например, в «Плодах просвещения» у Толстого мужик говорит: «Двистительно». Пользуясь этим словом, Толстой как бы показывает нам, что мужику едва ли ясен смысл слова, ибо крайне узкая житейская практика крестьянина не позволяет ему понимать действительность как результат многовековых сознательных действий воли и разума людей.

В молодости я тоже стремился выдумывать новые слова, причиной этого наивного стремления послужило красноречие юристов — адвокатов, прокуроров. Мне было странно видеть, что «добро» и «зло» одеваются одинаково красивыми словами, что обвинители и защитники людей с равносильной ловкостью пользуются одним и тем же лексиконом. И я смешно трудился, сочиняя «свои слова», исписывая ими целые тетрадки. Это была тоже одна из «детских болезней». Спасибо действительности, она, хороший врач, быстро вылечила меня.

История культуры учит нас, что язык особенно быстро обогащался в эпохи наиболее энергичной общественной деятельности людей, вме-

сте с разнообразием новых приемов труда и обострением классовых противоречий.

Это подтверждается и фольклором: пословицами, поговорками, песнями, и это естественный путь развития речевого языка. Искусственные, надуманные «новшества» в этой области так же бессильны, как и консервативная защита устаревших слов, смыслы коих уже стерлись, выпали. Напомню для ясности, что Пушкин высоко ценил язык «московских просвирен», учился у своей няни Арины Родионовны. Замечательнейший знаток речевого языка Лесков тоже учился у няньки, солдатки. И вообще скромные няньки, кучера, рыбаки, деревенские охотники и прочие люди тяжелой жизни определенно влияли на развитие литературного языка, но литераторы из стихийного потока речевого бытового языка произвели строжайший отбор наиболее точных, метких и наиболее осмысленных слов. Литераторы наших дней крайне плохо понимают необходимость такого отбора, и это резко понижает качество их произведений. Отсюда разноречие в споре о качестве, а также упрямые попытки лентяев и двоедушных хитрецов замять спор, свести его к вопросам грамматики, тогда как в нашей стране спор о качестве словесного искусства имеет определенный, глубоко социальный смысл.

Вторым элементом литературы является тема. Тема — это идея, которая зародилась в опыте автора, подсказывается ему жизнью, но гнездится во вместилище его впечатлений еще не оформленно и, требуя воплощения в образах, возбуждает в нем позыв к работе ее оформления.

Существуют так называемые «вечные» темы: смерть, любовь, также другие, созданные обще-

ством, построенным на индивидуализме; темы эти: ревность, месть, скупость и т. д. Но еще в древности было сказано: «Всё изменяется», «Ничто не вечно под луной», так же как и под солнцем. Над миром нашим всходит яркое солнце революции и освещает, что источником «вечных» тем служило и служит ощущение личностью ее трагического одиночества и бессилия в обществе, построенном на основах свирепой борьбы классов, борьбы всех со всеми за хлеб, за власть. Известно, что характерной и неустранимой особенностью буржуазного общества является тот факт, что огромное большинство его членов должно тратить всю свою энергию на то, чтоб завоевать примитивные, полунищенские условия жизни. К этой проклятой и унижительной «особенности» бытия своего люди привыкли, и хотя она властно заставляет каждого «сосредоточиваться в самом себе», думать только о себе, — понимают уродливость социального строя лишь очень редкие. Люди вообще понимают лишь ничтожную часть того, в чем они живут, что видят. Думать о смыслах видимого — нет времени, человек кружится в тесном плену мелочных забот о себе, об удовлетворении своих физиологических потребностей, своего самолюбия и стремления занять в жизни более удобное место. Разумеется, всё это необходимо для того, чтоб жить, и для многих выработанная привычка не думать о том, что они видят, служит удобным средством самозащиты. Если б люди буржуазного общества подсчитывали, сколько энергии тратят они на самозащиту, на пошлейшие пустяки, количество самоубийств, вероятно, возросло бы в десятки раз.

Но хотя человек и не думает о смыслах того,

что видит, однако, видимое все-таки отлагается где-то во вместилище его впечатлений, тяготит человека, вызывает в нем ощущение бессмысленности жизни, «бренности бытия», приводит его к позорному заключению «всё равно, как жить», к мистике, анархизму, цинизму. Так буржуазное общество вырабатывает в себе яды, которые отравляют и разрушают его. Мы видим, что религиозные, моральные, правовые догмы не в силах задержать процесс гниения и распада буржуазного общества. В условиях, которые создает бесклассовое социалистическое общество, «вечные» темы литературы частью совершенно отмирают, исчезают, частью же изменяется их смысл. Наша эпоха предлагает темы неизмеримо более значительные и трагические, чем смерть человеческой единицы, какой бы крупной ни являлась ее социальная ценность. Индивидуалистов это не утешит, но индивидуализм осужден историей на смерть.

Третьим элементом литературы является сюжет, то есть связи, противоречия, симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения людей — истории роста и организации того или иного характера, типа. Мне кажется, что этими тремя элементами почти вполне исчерпывается содержание понятия литература, если это понятие ограничить «беллетристикой» — драмой, романом, повестью, рассказом. Далее можно говорить о приемах, «стиле», но это уже субъективные особенности дарования авторов. Разумеется, и за этими особенностями скрыты те или иные объективные показатели их «генезиса» — происхождения и развития.

Теперь несколько слов о реализме как основном, самом широком и наиболее плодотворном течении литературы XIX в., переливающимся и в XX в. Характерная особенность этого течения — его острый рационализм и критицизм. Творцами этого реализма были преимущественно люди, которые интеллектуально переросли свою среду и за грубой, физической силой своего класса ясно видели его социально-творческое бессилие. Этих людей можно назвать «блудными детьми» буржуазии; так же как герой церковной легенды, они уходили из плена отцов, из-под гнета догм, традиций, и к чести этих отщепенцев надо сказать, что не очень многие из них возвращались в недра своего класса кушать жареную телятину. В нашем отношении к европейским литераторам-реалистам XIX в. весьма заметную роль играют оценки буржуазной критики, которая, рассматривая достоинства и недостатки языка, стиля, сюжета, вовсе не была заинтересована в том, чтобы раскрыть, обнажить социальные смыслы фактов — материала книг. Социальную значимость работы Бальзака поняли только Энгельс и Маркс. Стендаля критика «замолчала». У нас иностранную литературу в подлинниках читают очень мало, и еще менее знают биографию западных авторов, процессы их роста, приемы работы.

Литература «блудных детей» буржуазии была в высшей степени ценна своим критическим отношением к действительности, хотя авторы новелл и романов, конечно, не указывали выхода из грязной анархии, творимой жирным и пресыщенным мещанством. Лишь очень редкие и по преимуществу второстепенные авторы согласно с указаниями популярной философии и влиятель-

ной критики пытались утвердить некоторые догматические бесспорности, которые, примиряя непримиримые противоречия, скрывали бы явную и гнусную ложь общественного строя буржуазии. В XIX в. наука и техника особенно успешно расширяли, укрепляли материальные основы капиталистических государств, но литература Франции, командующая литература Европы, совсем не восхищалась этой механической деятельностью европейского мещанства и не искала оправдания ее «машинального» роста.

Основной и главной темой литературы XIX в. являлось пессимистическое сознание личностью непрочности ее социального бытия, — Шопенгауэр, Гартман, Леопарди, Штирнер и многие другие философы укрепляли это сознание проповедью космической бессмысленности жизни, проповедью, в основе которой коренилось, разумеется, то же самое сознание социальной незащитности, социального одиночества личности. В новой действительности, создаваемой пролетариатом-диктатором Союза Советов, личность, даже затерянная в ледяных пустынях Арктики, живя под ежеминутной угрозой смерти, не чувствует себя одинокой и беспомощной.

XIX век — по преимуществу век проповеди пессимизма. В XX в. эта проповедь выродилась, вполне естественно, в пропаганду социального цинизма, в полное и решительное отрицание «гуманности», которой так ловко щеголяли и даже гордились мещане всех стран. Принятая весьма многими шопенгауэрова — церковная, лицемерная — этика сочувствия, сострадания истерически озлобленно отвергается Ницше.

Нужно добавить, что ощущение и даже понимание крайней непрочности, неустойчивости со-

циального бытия единиц было не чуждо даже наиболее талантливым слугам капитала. Почти все те «великие» и «знаменитые» люди буржуазии XIX в., после которых остались и опубликованы их мемуары, дневники, письма, говорят о том, как непоправимо скверно организовано буржуазное общество.

В число заслуг пролетариата-диктатора Союза Советов необходимо включить тот факт, что его изумительная героическая деятельность очищает мир от плесени и ржавчины пессимизма.

Реализм «блудных детей» буржуазии был реализмом критическим: обличая пороки общества, изображая «жизнь и приключения» личности в тисках семейных традиций, религиозных догматов, правовых норм, критический реализм не мог указать человеку выхода из плена. Критике легко поддавалось всё существующее, но утверждать было нечего, кроме явной бессмысленности социальной жизни, да и вообще «бытия». Это утверждалось громко и многими, начиная, примерно, от Байрона до умершего в 1932 году Томаса Гарди, от «Замогильных записок» Шатобриана и других до Бодлера и Анатоля Франса, чей скепсис очень близок пессимизму. Некоторые литераторы заменяли пессимизм католицизмом, но «хрен редьки не слаще», все церкви почти с одинаковой настойчивостью внушали людям сознание бессилия в борьбе за жизнь. Вредоносность религии особенно ярко выражается в ее стремлении понизить всякую энергию, которая направлена в сторону от материальных и своекорыстных интересов князей церкви, и один

из попов, «наместников Христа на земле», совершенно правильно сказал: «Христианство весьма выгодно для духовенства». У нас охотно и обильно пишут о реализме социалистическом, и недавно один из авторов опубликовал в статье о Гоголе интересное открытие: Гоголь был социалистическим реалистом. Открытие это интересно потому, что указывает, до какой чепухи может доходить кустарное производство литературно-критических истин и указывает, как слабо чувствует писатель ответственность перед читателями за свои слова.

Литературный реализм имеет дело с реальными фактами человеческой жизнедеятельности. В эпоху «Ревизора» и «Мертвых душ», насколько известно, никем и нигде в России не наблюдалось фактов социалистического характера. По сей немаловажной причине литератор Николай Гоголь не мог отразить таковые факты в социальной жизнедеятельности Хлестакова, Чичикова, Собакевича, Ноздрева, Плюшкина и прочих его типов. Значит: Гоголь облыжно наименован реалистом социалистическим, он является реалистом-критиком, и настолько сильным, что сам был испуган силою своего критицизма до безумия. Это не единственный случай, когда безумие приобретало глубоко поучительное социально-философское значение. Полоумие никогда такого значения не имело и не может иметь, — крайне странно, что некоторые писатели не понимают этого.

Социалистический реализм в литературе может явиться только как отражение данных трудовой практикой фактов социалистического творчества. Может ли явиться такой реализм в нашей литературе? Не только может, но и дол-

жен, ибо факты революционно-социалистического творчества у нас уже есть и количество их быстро растет. Мы живем и работаем в стране, где подвиги «славы, чести, геройства» становятся фактами настолько обычными, что многие из них уже не отмечаются даже прессой. Литераторами они не отмечаются потому, что внимание литераторов направлено всё еще по старому руслу критического реализма, который естественно и оправданно «специализировался» на «отрицательных явлениях жизни». Здесь уместно напомнить, что некоторые уродливости: слабость зрения, лживость, лицемерие и т. д. — явления, обусловленные тоже естественными причинами, и что эти причины устранимы.

Одной из серьезных причин консервативной стойкости критического реализма служит недостаток профессиональной технической квалификации литераторов или, просто говоря, недостаток знаний, — «невежество», неумение видеть, «ведать», знать. Эта причина нередко соединяется с эмоциональным тяготением к прошлому, к старенькому дедушке, у коего в жизни одна «перспектива» — крематорий. К этой причине надобно присоединить линию наименьшего сопротивления в работе: дерево легче обработать, чем камень, камень — легче железа — стали, а изобразить жизнь в маленьком деревянном одноэтажном особнячке гораздо проще, чем жизнь в каменном или железобетонном многоэтажном доме.

Привычка работать на маленьком, на мелочах ведет к тому, что когда наш литератор берется за большой сюжет, например, за строительство промышленного комбината, он перегружает смысловую, идеологическую тему описанием множе-

ства мельчайших деталей и хоронит ее под огромной кучей бумажных цветов своего красноречия, обычно не очень ярких. Детализация преобладает и вредит даже там, где она более уместна, где процессы перевоспитания, перерождения человека из индивидуалиста в коллективиста развиваются сравнительно более медленно, например, в колхозном строительстве. Тем же пристрастием к деталям я объясняю и печальные, но тоже обычные у нас факты: литератор сдает в печать первую часть своей книги, а следующей нет, ибо он уже истратил весь накопленный материал и дальше ему не о чем писать.

Начинать работу большими романами — это очень дурная манера, именно ей обязаны мы тем, что у нас издается множество словесного хлама. Учиться писать нужно на маленьких рассказах, как это делали почти все крупнейшие писатели на Западе и у нас. Рассказ приучает к экономии слов, к логическому размещению материала, к ясности сюжета и наглядности темы. Но когда я посоветовал одному даровитому литератору отдохнуть от романа, пописать рассказы, он ответил: «Нет, рассказ слишком трудная форма». Выходит, что пушку проще сделать, чем пистолет.

Мое вступление к беседе слишком многословно, но я считаю его необходимым. Молодые литераторы должны иметь представление о трудности литературной работы, о запросах, которые предъявляет к ним эпоха, и об ответственности литератора пред читателем. Никогда еще в мире не было читателя, который так заслуживал бы права на любовь и уважение к нему, как этого заслуживает наш читатель.

Истины — как орудия познания, как ступени на путях людей вперед и выше — создаются людским трудом, — это истина, весьма прочно обоснованная всею историею культурного роста человечества.

Я часто повторяю одно и то же: чем выше цель стремлений человека, тем быстрее и социально продуктивнее развиваются его способности, таланты, это я тоже утверждаю как истину. Она утверждается всем моим житейским опытом, т. е. всем, что я наблюдал, читал, сравнивал, обдумывал. Разумеется, что наиболее крепко и солидно ее утверждает советская действительность.

В СССР революционный гений Владимира Ленина поставил пред пролетариатом самую высокую цель, и ныне к практическому достижению этой головокружительной цели мощно стремятся миллионы пролетариев Союза, всё более заметно возбуждая революционную энергию пролетариата всех стран, почтительное изумление частных людей и подлейшую ненависть мерзавцев.

Люди «здравого смысла», т. е. равнодушные умники, считая за лучшее спокойно подчиняться силе фактов, силе традиции, догматов, норм, называют эту цель неосуществимой, фантастической и, не принимая участия в битвах, умело пользуются плодами побед. В кругах дантова «Ада» этим людям отведено место, вполне заслуженное ими.

Внутри Союза стремление к «фантастической» цели является возбудителем сказочных подвигов, героической работы, дерзновеннейших намерений. Перечислять последние здесь не место, но знать их литераторам следовало бы

именно как намерения и прежде чем они реализуются, становятся фактами. Неоспоримо полезно кушать хлеб, но не менее полезно знать, как человек пытается, превратив пшеницу в растение долголетнее, освободить этим массу энергии, которая затрачивается на ежегодную вспашку полей.

Итак, истины создаются общественно-полезным трудом людей, направленным к высокой цели создания бесклассового социалистического общества, в котором масса излишне расходуемой физической энергии человека превратится в энергию интеллектуальную и где дан будет неограниченный простор развитию всех способностей и талантов личности.

Задача литературы: отразить, изобразить картины трудовой жизни и воплотить истины в образы — характеры, типы людей. Есть пословица: «Чем выше встанешь, тем больше видишь». Вот с высоты этой цели мы и посмотрим, насколько темы и сюжеты ваших произведений, товарищи, совпадают с основным стремлением возбужденной революцией творческой энергии и насколько вы ощущаете на самих себе влияние этого мощного возбудителя.

Из полутора десятка прочитанных мною рукописей ваших четыре или пять рассказывают о «реконструкции» стариков. Разумеется, и старичок жить хочет. В рассказе «Сын» реконструируются сразу три старичка. Шестнадцать лет культурно-революционной работы, как видно по рассказу, не очень влияли на них. Но вот они как бы «усыновили» рабочего-негра. Это, ко-

нечно, факт очень трогательный. Было бы даже полезно, если б автор показал постепенность развития в старом русском рабочем сознании его интернационального родства с рабочим человеком черной расы. Но автор недостаточно продумал свой сюжет и, желая рассказать веселый анекдот, начал его так:

«Я смеюсь. Смех забивает ноздри, глаза, рот...» Я не понимаю, как смех может забивать глаза, ноздри? Смех — не пыль.

«Что может быть уморительнее этого зрелища». «Я не в цирке» и т. д. Очень много говорится о смехе до того, как начать речь о негре, и этот смех, конечно, обиден черному человеку.

Всё дальнейшее убеждает меня, что автор выбрал для своего рассказа неподходящий тон и не тот язык. Сюжет требует иного отношения к нему, иной раскраски. На заводе у станка появился чернокожий, курчавый, толстогубый человек. Старички — менее культурны, чем молодежь, старички привыкли думать, что настоящие люди — белокожие. Наверное над негром посмеивались, хотя бы и не обидно для него, но негры вообще очень обидчивы, особенно негры из Америки, где их не считают за людей. Возможно, что негр встал к станку, на котором работал сын старичка, убитый в гражданскую войну. Допустимо, что негр чем-то помог старику. Вообще он должен был разбудить в старике какое-то положительное отношение к черному человеку не внешностью своей, а каким-то действием, поведением, хотя бы тем, что быстро освоил работу или же ловко чечотку танцевал. Но негр бездействует в рассказе. Заводской комсомол тоже бездействует. Я не отрицаю случая, что русскому рабочему-старика мог понравиться

негр, араб, индус. У старика, который до этого, скажем, слышал что-то об интернационализме пролетариата, явилось — от ума или от сердца — желание сблизиться с человеком черной кожи, но необходимо обосновать это желание, показать, что и как вызвало его, какие изменения произошли в сознании человека. Автор не показал этого и предлагает нам неинтересно рассказанный анекдот. А было бы очень полезно изобразить, как иноплеменные люди сживаются с нами, легко ли это им и почему легко или трудно.

В рассказе «Покупка» речь идет о старом рабочем, который вместо дивана для себя купил на свои деньги цемент для завода. Случай едва ли типичный, случай анекдотичный. Показать преодоление человеком его страстишки к приобретению лишних вещей — полезно, ибо инстинкт собственности (в прошлом орудие индивидуальной самозащиты человека) ныне стал врагом общества, которое хочет быть бесклассовым, социалистическим. Но автор плохо понял смысл избранной им темы и, рассказав о ней поверхностно, не убеждает читателя в правде и значительности факта. Факт остался случаем анекдотичным. На рассказ о нем затрачено множество лишних слов.

В очерке «Ловец водяных блох» рассказывается о тяжелом положении одного австрийского рабочего. Он не имеет работы и принужден ловить блох для любителей уженья пресноводной рыбы. Ловля водяных блох — тоже работа очень неприятная, угрожающая ревматизмом, но в ней нет ничего унижительного для рабочего. Бессмысленно и глупо, что квалифицированный работник занимается пустяковым делом для развле-

чения бездельников, но тут признак бессмысленности общества, и это автор забыл отметить, а только это и следовало сделать смыслом очерка. Безработные не нуждаются в возбуждении к ним бесполезного чувства жалости, они приблизительно понимают, что надобно делать, чтоб завоевать право на свободный труд. «Место действия» — Вена, но ничего характерного для Вены автор очерка не дал. Почти правило: наши авторы, пытаясь изобразить Европу, подходят к этой задаче с «заранее обдуманном намерением», каковое, по «Уложению о наказаниях», отягчает преступление. Отмечая характерные формы и явления европейской жизни внешне, поверхностно, авторы включают в эту жизнь свои московские, вятские, херсонские впечатления. Враги революционного пролетариата везде одинаковы в основном их качестве, но всё же каждый из них имеет нечто характерное, свое, так же как микробы: одни отравляют туберкулезным ядом, другие вызывают гнойное отравление.....

Рассказ «Прогулка». Где-то необходимо строить кирпичный завод, но существует убеждение, что поблизости глины нет. Однако старый краевед находит ее и очень просто: он давно знал, что глина есть. Рассказ — пустоват и неприятен чрезмерно тесным и фельетонным сближением с современностью. Например: «Огоньку» нос утрет». «Огонек» — журнальчик плохой и пожирает массу бумаги, которую можно бы употребить с большей пользой для читателя. «Огонек» следует закрыть или соединить его с «Прожектором», сделать из двух плохих журналов один хороший. «Нос утирать «Огоньку» — не следует в рассказе, претендующем на художе-

ственность. И не следует допускать в таком рассказе остроумности вроде следующей: «У дяди Кости был один серьезный порок — поэтическая деятельность».

Меня удивляет: почему люди в наши дни берутся за такие ничтожные темы? Почему не взяться за более близкое и более трудное, интересное? Взять, например, свой собственный день и рассказать о нем, о его наполнении жизнью. Человек проснулся, посмотрел в окошко, что-то увидел, — что же из этого следовало, какие явились мысли? Вот он куда-то пошел, — что видел на дороге, с кем встретился, о чем говорил? Что вообще дал ему день, чем обогатил его? Какой итог дню жизни подвел человек засыпая? Нужно знать, какие струны его души были наиболее задеты в истекший день и почему именно эти струны, а не другие.

Может быть, он сам себя ограбил. Может быть, повернулся случайно, или намеренно, боком к явлению, которое ему ценнее, чем явление, которое он оттолкнул?

Такие вещи, несмотря на мелочность, дают автору немедленный отчет о степени емкости его вместилща впечатлений.

Я рекомендую не интеллигентский «самоанализ», «самоугрызение», а проверку техники автора наблюдать, изучать действительность, рекомендую самовоспитание.

Я не натуралист, я стою за то, чтобы литература поднималась над действительностью, чтобы она смотрела немножко сверху вниз на нее, потому что задача литературы заключается не только в отражении действительности. Мало изобразить сущее, необходимо помнить о желаемом и возможном. Необходима типизация явле-

ний. Брать надо мелкое, но характерное, и сделать большое и типичное — вот задача литературы. Если вы возьмете крупные произведения хотя бы только XIX в., то увидите, что литература к этому стремилась и этого отлично достигла у больших людей, как, например, Бальзак, которого часто называют, но плохо знают.

Наше словесное искусство всем занимается, и если человек хочет написать рассказ о краеведе, который живет в Богородске Московской губернии, то краеведа нужно написать так, чтобы он в общем был такой же, какой живет в Мурманске, Астрахани, Тамбове и в других местах.

Дальше. «Извозчик с проспекта Тиберия Гракха». Тут у автора — «дышала рыхлая весна». Рыхлый снег, рыхлое тело — я понимаю, но весна с таким эпитетом непонятна мне. По-моему, это не годится. Все начало рассказа написано с напряженными поисками образности и метких слов, как, например: «Рушился ноздрястый, как подмоченный рафинад, снег», «Малинин самый великовозрастный житель Калуги...» Здесь рост смешан с возрастом. Затем: «Заочье». Это можно понять и за Окой и за очами. «И до наглости крупный горох». Почему — до наглости? Затем енот вовсе не дорогой мех, а дешевый. «Гривы твои — клубы дыма» — говорит ямщик лошади. Не верю, что ямщик сравнивает гриву с клубами дыма. Затем — «хорьколицый», здесь, вероятно, подразумевается остренькая мордочка, но у хорька морда обрубленная, тупая, а не крысиная. Затем выражение: «На меня чарма нашла». Вряд ли извозчик насчет чармы что-нибудь знает, потому что это дела индусские. В этом рассказе также реконструируется старичок,

Рассказ «Другая родина» недописан, это еще черновик. Многое совсем не объяснено; например: почему дочь машиниста торгует цветами, кому и зачем это нужно? Недостаточно оправданы настроения отца и сына при встрече после разлуки на десяток лет. На этой рукописи, как и на других, — мною сделаны заметки, и здесь я не буду особенно распространяться об ужасах словесной красоты рассказа «Обида», где «сирена, как солнечные зайчики» — сирена ревет, как морж, и звук ее едва ли может напомнить о солнечных зайчиках. Автор нередко изображает анатомически невозможные гримасы на лицах своих героев, — весьма советую: прежде чем описать такую гримасу, попробуйте воспроизвести ее перед зеркалом на своем лице.

В авторе весьма чувствуется желание найти свои слова, свой рисунок, но пока ему это не удастся. Поиски интересные, нужно приветствовать их, но они не удаются, ибо вместо простоты автор стремится найти красоту и находит неприятнейшие красоты.

Второй рассказ этого автора «Активное выступление» — какое-то странное воскресение героя гоголевской «Шинели». Герой нашего автора, архивный человек, воскрешается волей начальства, а не своей волей. Такие «воскресенцы» недолго, не очень полезно живут.

Затем рассказ «Свадьба». Здесь приходится повторить, что всё видимое нами, все условия, в которых мы живем, создаются из мелочей, как организм из невидимых клеток. Все эти мелочи в высокой степени важны, но надо суметь тщательно отобрать наиболее характерные. Наши большие романы о стройках плохо удаются авторам именно потому, что они перегружены опи-

саниями мелочей, взятых без выбора. Люди увлекаются детализацией, и за обилием мелочей читатель не видит, в чем дело. Магнитогорск, Днепрострой и т. д. становятся как бы отвлеченными понятиями. Пропадает самое существенное значение огромнейшей массы человеческой энергии, самой ценнейшей энергии в мире. Ее воплощение, ее реализация — это процесс, который по смыслу своему идет гораздо дальше тех газетных восхвалений и поспешно написанных книг, которые мы читаем. На самом деле, во всех областях творчеством людей нашей страны совершаются процессы, — чудесами называть их не принято, — скажем, чудовищного значения. Действует энергия людей, еще не принимавших участия в свободном жизнетворчестве, и людей, которые не тронуты отупляющей обработкой школы старого времени, — не имеют традиций, — мозолей в мозге, — не имеют «книжной наследственности», которой особенно сильно и в форме особенно острой страдала наша интеллигенция, — интеллигенция критически мыслящая, но по существу своему бездеятельная, если исключить из нее тот небольшой слой, который принимал то или иное участие в активной революционной работе. Все остальные углублялись в длительнейшие разговоры на темы о том, существует ли вселенная реально или нам только кажется, что она существует. И зачем она существует, а также зачем кажется нам, что она действительно существует. И едим ли мы действительно существующие или воображаемые огурцы. И вдруг окажется, что во время воображаемого нами дождя мы пользуемся зонтиками, не существующими реально?

Эта философия людей, не уверенных в реаль-

ности своего бытия, объяснялась тем, что их бытие не реализировалось, не укреплялось деяниями. Они говорили и писали языком, образцы коего приводит умник Герцен в «Былом и думах»: «Конкретизирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоидущего духа, с которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу обратного сознания в красоте».

Почти сотню лет люди занимались празднословием, взаимно поражая и восхищая друг друга мудростью своей. А когда густо засеянная сорняком абстракции, непонятная действительность развернулась пред ними как социальная революция, они все-таки нашли в себе некую силу зоологического сопротивления величайшей и единственной истине мира, были разбиты, бежали или выброшены вон из нашей страны и ныне, вымирая, продолжают за границами ее привычную болтовню, уснащая ее идиотической ложью и клеветой по адресу пролетариата-диктатора, творящего всемирное дело освобождения людей труда из цепей капитализма.

Мы, литераторы Союза Советов, получили право говорить о том, что в мир пришел другой человек, человек без «мозолей в мозге», со страшной жаждой показать себя, свои дарования, таланты. Интеллектуальная энергия, которая в потенции была, но активно не действовала, ныне великолепно действует. Огромное большинство нашего крестьянства копало землю на шесть вершков в глубину, а теперь мы ее копаем из года в года так, что она всё более широко открывает пред нами свои сокровища. Мы являемся свидетелями всё более интенсивной и очень

успешной борьбы активно организуемого разума с механическим разумом природы. В этой борьбе создается действительно новый человек, а мы, литераторы, всё еще не можем этого человека поймать, изобразить и рассказываем анекдоты или длинные скучные истории о том, как люди работают, но не умеем показать, для какой высокой цели работают они.

Возвращаясь к рукописям. Автор рассказа «Конец япончика» — человек очень способный, но с большим «форсом», который ему, по моему, способен сильно повредить. Язык автора неряшлив, неправилен, груб. «Тоший еврейчик, как высохший зенчик». А что такое «зенчик»? «Лохмотья звенели» — чепуха, тряпки не звенят! «Ненасытная бабища, готовая принимать по эскадрону». О такой бабе уже рассказал эротический писатель Пьер Луис, и нет надобности напоминать о ней. «Ударить по месту, о котором люди составили свое мнение». По моему, люди о всех местах составили свое мнение. «Мечты и желания, которые превращают грязь жизни в золото». Здесь как будто звучит пессимизм. Если он органический, то это очень плохо, но я думаю, что это пессимизм литературный, вычитанный.

Автору надо эти штуки бросить, а то они могут сбить его с толку.

Затем нужно отказаться от блатной романтики, а она у него есть. Эта романтика явно книжная, ее насадили американцы, в особенности Брет-Гарт и О. Генри. Их социальная романтика была направлена в свое время против суровой морали пуритан, первых поселенцев Америки; она, выродившись в лицемерный сентиментализм, осталась до сих пор и играет вред-

ную роль в форме литературного примиренчества, фабрикующего тысячи рассказов со «счастливыми концами».

В рассказе «Паломничество» нужно было показать, как книжный, вычитанный романтизм сочетается с естественным романтизмом, который для нас — под псевдонимом «социалистического реализма» — необходим. Нужно показать, как они сталкиваются, как один пытается увести «от бедствий человеческих к чарованиям и вымыслам», и действительность, разрушая пассивное отношение к ней, заставляет действовать или погибать.

«Рассказ о молодом хозяине». Эта вещь заслуживает внимания, но ее надо обработать; а в таком виде она не годится, многое не оправдано. Автор не задумывается над целым рядом мест.

Автор рассказов «Лебединая песня», «Феникс», «О любви к смерти», «Дворянские бани», «Сады Семирамиды», видимо, романтик, которому свойственны активное отношение к жизни и мажорный тон рассказа о ней. Но у него есть много литературщины, которая ослабляет подлинное чувство и сильно путает язык. Ему грозит опасность подпасть под влияние Леонида Андреева, человека, который отрицал силу знания только потому, что не пытался увеличить небогатый запас своих знаний. Он был романтик «эмоциональный», верил, что «подсознательное» и «воображение» — это всё, что нужно литератору. Ему казалось, что в отношении людей к миру интуиция преобладает над разумом. Есть немало людей, разум коих, питаясь исключительно литературой, приобретает в отношении к жизни характер набалованного ребенка и сам

себя уродует пренебрежительным отношением к реальностям, силою влияния которых он создан и только этой силой может развиваться. Но бывают люди, которые относятся к своему разуму точно к барину, подчиняя его капризам свой талант, свои способности даже тогда, когда разум их невелик и силен только тем, что назойлив. Художник — человек искусств, которые придают формы и образы слову, звуку, цвету, — художник должен стремиться к равновесию в нем силы воображения с силою логики, интуитивного начала и рационального. Сказанное сводится к тому, что человек должен уметь пользоваться своими способностями так, чтобы они не иссякли, а развивались гармонично.

Это реалист весьма наблюдательный, но его вещь «Сашка» должна быть сокращена вдвое, и тогда она сильно выиграет. Он взял очень интересный тип кулацкого сына, рвача, лентяя, и хорошо его видит. Дьякона он впутал зря. Дьякона можно оставить только в рассказе сына, а в начале он мешает течению рассказа. Рассказ течет довольно быстро и довольно ловко, но очень много насажено лишних слов, которые раздражают читателя, потому что прерывают логическое течение событий, смазывают лица людей и вообще не нужны.

Необходимо понять факт глубочайшего, решающего значения для литераторов: жизнь становится всё более богата разнообразными и необычными явлениями, а читатель — непосредственный творец этих явлений. Работает и думает он гораздо лучше, чем выражает свои мысли в словах, но отсюда вовсе не следует, что нужно сеять в мозг его лишние, уродливые, не проверенные слова, следует же, чтобы литера-

тура вошла в более тесное и непосредственное соприкосновение с жизнью.

Остаются рассказы: «112-й опыт», «Колесо», «Поход победителя». Автор — литературно грамотен, у него простой, ясный язык, автор, видимо, учился у Чехова, умеет искусно пользоваться чеховскими «концовками», обладает юмором и вообще даровит. Чувствуется, что он усердно ищет свой путь, подлинное «лицо своей души».

По поводу повести «PS» — Колдунова я напишу автору отдельно.

Вот, я дал отчет о прочитанных мною рукописях. Заключение напрашивается само собою: молодая наша литература растет быстро и обильно. Однако отвечает ли она запросам, которые предъявляются ей нашей действительностью? Нужно прямо сказать: еще не отвечает. Чем это объясняется? На мой взгляд, слабым идеологическим и техническим вооружением молодых литераторов. Незнанием ими истории своей страны и ее людей, каковыми они были до революции. Незнанием, которое лишает авторов возможности понимать резкое внутреннее различие настоящего с прошлым и достойно оценивать настоящее. Неправильным отношением к жизни, в которой их внимание останавливается по преимуществу на отрицательных явлениях ее и как бы не замечает явлений, требующих утверждения, развития. Выбором мелких, анекдотических тем, увлечением деталями в крупных произведениях, и вообще работой «по линии наименьшего сопротивления» материала.

Это не упреки по адресу начинающих литераторов, это дружеское указание пути, идя которым они могут быстро и сильно вырасти. Упрек-

нать можно и есть за что литераторов, чьи таланты уже признаны, имена знамениты. Их можно упрекнуть в том, что за шестнадцать лет работы они не коснулись целого ряда интереснейших явлений нашей жизни. Одно из таких явлений — процесс отмирания религии, которая служила отдыхом и развлечением для миллионов жителей нашей страны. Не показано, как исчезала надежда на помощь попа и бога и как на пустом месте исчезнувшей иллюзии являлось у человека сознание его независимости от «неведомой, непостижимой, вездесущей силы». Не показано, как человек сам себя почувствовал силою вездесущей и всесозидающей. Не показана борьба веры и разума, эмоции и мысли, а ведь мы еще недавно жили в стране тысяч церквей, монастырей, церковных школ, в стране, по проселочным дорогам которой зиму и лето ходили тысячи странников, «богомолов», сеятелей суеверий, проповедников «божьей воли», гасителей воли человеческой. В наши дни становится заметен рецидив религиозной эмоции. Его причина и пропагандист — кулак, оторванный от земли, лишенный власти над человеком. Бывший собственник пытается напомнить людям унылое сказание о бытии творца и собственника вселенной, т. е. старой сказкой оживить инстинкт собственников. Характерной особенностью новых «вероучений» является тот факт, что эти вероучения идут не от церковной мистики, не от приятия или неприятия догматов и обрядов церкви, а от суровой реальной действительности и целью своей ставят сопротивление ей. «Христос запрещает работать по праздникам» — проповедуют новые вероучители, не считаясь с тем, что — по евангелию — Хри-

стос является нарушителем праздников. И вообще новая проповедь как будто целиком сводится к одной цели: не работать, и не только по праздникам, а не работать никогда и этим подорвать работу строения нового мира. Мистическая догматика превращается в контрреволюционную политику, и это весьма интересный материал для литератора. Не менее интересна тема рвача, «летуна». Летун — старый, «исторический» тип паразита, бродяги и лентяя. Но в старину многие уходили в «бродячую Русь» от «скуки жизни», тягостей ее, от бесправия, от того, что начальство «мордовало». Современный «летун» чувствует себя полноправным гражданином, он нахально требователен и точно знает границы слова и дела, в коих его никто не тронет. Это паразит более вредный, чем старый бродяга, и как тип — более яркий.

Не показана женщина в современном положении. Женщина-администратор, живущая за свой страх, женщина не такая, которая любит и которую любят, но такая, которая увлечена культурным делом социалистического строительства, женщина в науке, искусстве, во всех областях жизнедеятельности.

У нас совсем почти не пишут о детях. Горячо приветствую редколлегию «Литературного современника» за то, что она дала в 12-й книге ряд очень хороших рассказов о детях.

Недостаточно внимательно относятся литераторы к процессам перерождения крестьянства. Не показано, как исчезает в нем его стихийное, полумистическое отношение к земле, теперь, когда десятки, сотни тысяч крестьян принимают физическое участие в обновлении земли, в процессе извлечения из недр ее различных сокро-

вищ. Крестьянин брал от земли только то, что она ему привычно давала, — новый хозяин земли, разнообразно повышая ее плодородие, вводя новые культуры, властно требует от нее всё, что она может создать. Из массы людей умственного уровня XVII в. быстро и обильно вырастают передовые люди XX в., и в этом грандиозном процессе скрыты сотни различных тем и сюжетов для драм, романов, поэм, комедий, рассказов. Не было еще такой эпохи, когда искусство располагало бы таким разнообразным материалом, какой предлагает искусству материал нашей страны. Никогда еще литератор не пользовался такой широкой, свободной возможностью непосредственного общения с читателем, какая открыта пред ним в нашей стране.

Я кончаю, искренне желая вам, товарищи, почувствовать и понять всю силу ответственности, возлагаемой на вас революционной эпохой и страной Советских социалистических республик.

VII. О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ

Техника литературной работы сводится — прежде всего — к изучению языка, основного материала всякой книги, а особенно — беллетристической. Французское понятие «бель летр» по-русски значит — красивое слово. Под красотой понимается такое сочетание различных материалов, — а также звуков, красок, слов, которое придает созданному — сработанному — человеком-мастером форму, действующую на чувство и разум как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и радость пред их способностью к творчеству.

Подлинная красота языка, действующая как сила, создается точностью, ясностью, звучностью слов, которые оформляют картины, характеры, идеи книг. Для писателя-«художника» необходимо широкое знакомство со всем запасом слов богатейшего нашего словаря и необходимо умение выбирать из него наиболее точные, ясные, сильные слова. Только сочетание таких слов и правильная — по смыслу их — расстановка этих слов между точками может образцово оформить мысли автора, создать яркие картины, вылепить живые фигуры людей настолько убедительно, что читатель увидит изображенное автором. Литератор должен понять, что он не только пишет пером, но — рисует сло-

вами, и рисует не как мастер живописи, изображающий человека неподвижным, а пытается изобразить людей в непрерывном движении, в действии, в бесконечных столкновениях между собою, в борьбе классов, групп, единиц. Но — в мире нет движения, которое не встречало бы сопротивления. Отсюда — ясно, что кроме необходимости тщательно изучать язык, кроме развития умения отбирать из него наиболее простые, четкие и красочные слова отличноработанного, но весьма усердно засоряемого пустыми и уродливыми словами литературного языка, — кроме этого писатель должен обладать хорошим знанием истории прошлого и знанием социальных явлений современности, в которой он призван исполнять одновременно две роли: роль акушерки и могильщика. Последнее слово звучит мрачно, однако оно вполне на своем месте. От воли, от умения молодых писателей зависит наполнить его смыслом бодрым и веселым, для этого следует только вспомнить, что наша молодая литература призвана историей добить и похоронить всё, враждебное людям, — враждебное даже тогда, когда они его любят.

Разумеется — наивно и смешно говорить о «любви» в буржуазном обществе, одна из заповедей морали коего гласит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и — значит: утверждает любовь человека к себе самому как основной образец любви¹. Хорошо известно, что

¹ «Любовь к самому себе составляет положительное требование закона божия, являясь тем исходным пунктом, из коего развивается наша любовь к ближнему». — «Церковный вестник», № 45, 1909 г. Статья «О сжигании трупов». Не подписана, вероятно проф. Евсеева.

Прим. Горького

классовое общество не могло бы построиться и существовать, если б оно подчинялось заповедям: «Не воруй» у ближнего и «Не убивай» его.

В Союзе Социалистических Советов уже мальчики-пионеры учатся понимать и понимают обратительно-очевидную истину: цивилизация и культура буржуазии основана на непрерывной зверской борьбе меньшинства — сытых «ближних» — против огромного большинства — голодных «ближних». Совершенно невозможно «любить ближнего», когда необходимо грабить его, а если он сопротивляется грабежу — убивать. Издавна, в процессе развития буржуазного «строения», бедные и голодные выделяли из среды своей разбойников на суше и на воде, а также — гуманистов — людей, которые, будучи недостаточно сытыми, доказывали сытым и голодным необходимость ограничить себялюбие.

Так как деятельность разбойников слишком наглядно обнажила подлинную основу государства богатых, у богатых явилась нужда частью уничтожить разбойников, а частью — привлекать их к делу управления государством. В старину, например в средние века, лавочники и мещане в борьбе против ремесленников и крестьян делали из разбойников «вождей» себе: герцогов, диктаторов, «князей церкви» и т. д. — этот прием самозащиты торгашей против рабочих сохранился и в наши дни, когда буржуазные государства возглавляются банкирами, фабрикантами, оружием, храбрыми авантюристами и вообще — «социально опасными».

Гуманисты тоже мешали лавочникам жить спокойно, поэтому тех, которые наиболее упрямо доказывали необходимость ограничить себялюбие, буржуазия или уничтожала различными

приемами, вплоть до сжигания живьем на кострах, или же — как в наши дни — соблазняла на предательство, возводя их на высокие позиции, куда влезая, гуманисты начинают охранять буржуазный строй и покой, как это мы видим по деятельности министров Европы, сфабрикованных лавочниками из рабочих, бывших социалистами.

Но всё это не приводит буржуазию к «мирному сотрудничеству классов» и желаемой ею «гармонии общественных отношений», — гармонии, смысл которой в том, что меньшинство сытых ближних, обладая «полнотой политической власти», делает всё, что ему выгодно, а большинство — голодные ближние — покорно подчиняются всему, что от них требуют пресыщенные лавочники всех наций, пресыщенные и отупевшие от пресыщения «радостями» их преступной жизни. История непрерывно и сокрушительно доказывает им, как юмористически непрочны благополучие даже сплошь закованных в золото таких дельцов-авантюристов, каков был знаменитый «король спичек» Ивар Крейгер и подобные ему.

О непрочности бытия лавочников красноречиво говорят всё более частые самоубийства в их среде. Но те, которые самоуничтожаются, ни в чем и никак не изменяют тех, которые остаются жить и механически, с последовательностью идиотов, продолжают свое подлое и безумное дело, — дело организации новой кровавой бойни, той бойни, которая, вероятно, уничтожит касту людей, чье себялюбие служит причиной всех несчастий, всего горя жизни трудового народа.

Молодой советский литератор очень поможет себе освоить смысл действительности — его материала, — если он вообразит себя качающимся между двух сил, из которых одна действует на его разум, другая — на чувство. Именно так поставила его история в эпоху крушения капитализма, в годы всё более частых и кровавых стычек пролетариата с буржуазией, накануне всемирной классовой битвы и неизбежной победы социализма. Но хотя шум начатой борьбы и велик, — его все-таки еще заглушает будничное кваканье маленьких мещан, которые, пресмыкаясь в тылу крупной буржуазии, издавна привыкли понемножку торговать, воровать и, по природе своей, не способны воевать; когда же большие хозяева начинают войну — маленькие становятся мародерами, добывают и грабят раненых, обворовывают мертвых и на этом ремесле нередко вырастают из мелких в крупные. Известно, что буржуазные «войны рожают героев», но гораздо больше они рожают жуликов, причем герои обычно остаются на полях битв, разорванными на кусочки, а наиболее ловкие жулики вламываются в жизнь хозяевами, законодателями и, познав выгодность массового человекоубийства, — снова начинают готовить такое же выгодное дельце, ибо промышленность, работающая на войну, особенно выгодна. Есть такой бог, имя ему — Барыш, — только в него буржуазия и верует, ему и приносит кровавые жертвы миллионами рабочих и крестьян.

Мелкое мещанство, — да и многие рабочие, отравленные физическим соседством с ним, — живя по уши в болоте, жалуется на сырость. Эти бессмысленные жалобы, вмешиваясь в героические призывы революционного пролетари-

ата, заглушают их. Жалуюсь на неудобства жизни в гнилом и тесном болоте, делают слишком мало усилий для того, чтоб вылезти на высокое и сухое место, а многие даже убеждены, что именно болото — «рай земной».

Но хотя «картинность» — обязательна для литератора, — будем говорить менее «картинно».

Наш, советский писатель должен твердо знать, что большинство его современников, — материал его работы, — люди, воспитанные веками беспощадной борьбы друг с другом за кусок хлеба, и что все его «ближние», каждый из них, охвачены стремлением к материальному благополучию. Это вполне естественное стремление, основа его — биологическая необходимость питаться, иметь удобное жилище и т. д. — необходимость эта свойственна всем животным и насекомым: лиса и коршун, крот и паук строят гнезда и норы, но некоторые из хищников и паразитов убивают больше, чем могут сожрать. На стремлении людей к материальному благополучию построена вся культура человечества, но его паразит — буржуазия, — обладая властью и ничем не ограниченной возможностью эксплуатации рабочих и крестьян, создала на почве удовлетворения необходимых потребностей тот соблазнительный излишек, который именуется «роскошью». Развращающее влияние этого излишка сознавалось и ею самой: так, например, законы против роскоши существовали в древнем республиканском Риме, в средние века против развития роскоши боролась буржуазия Швеции, Франции, Германии. Буржуазия пожирала чужой рабочей силы всегда больше, чем это было нужно для удовлетворения ее самых широких потребностей, она заразилась

страстью к легкой наживе, к накоплению денег и вещей, заразилась сама и заразила весь мир. Эта зараза и создала современную нам идиотскую картину: в столицах Европы целые улицы магазинов золотых изделий, драгоценных камней, «роскошных пустяков», на создание которых затрачивается масса ценнейшей энергии рабочего класса, а сам рабочий класс живет впроголодь, у него совершенно отнята возможность развить свои потребности, способности, таланты. Мещанская страсть к бессмысленному накоплению вещей, болезненная страсть к личной собственности привита и ему.

Не надо думать, что я против роскоши вообще, нет, я — за роскошь для всех, но против идолопоклонства вещам. Делай вещи как можно лучше, они будут более прочны, избавят тебя от затраты лишнего труда, но — «не сотвори себе кумира» из сапога, стула или книги, сделанных тобою, — вот хорошая «заповедь»! И было бы очень хорошо, если б заповедь эту усвоила наша рабочая молодежь.

Идолопоклонники материального благополучия, покоя и уюта «во что бы то ни стало», и в наши дни всеобщего распада буржуазной культуры, всё еще продолжают веровать в возможность личной прочной, легкой и «красивой» жизни. Вероятно, излишне повторять, что основа этого верования — себялюбие, привитое людям историей прошлого и подкрепляемое церковью, — ее «святые» типичнейшие себялюбцы и членоконенавистники. В светской философии особенно усердно утверждал себялюбие, — иначе: индивидуализм, — премудрый немецкий мещанин Иммануил Кант, человек, мысливший образцово механически и чуждый жизни, как мертвец.

— Это — запоздалое верование, и, как всякое верование, оно — слепо. Тем не менее оно — взнуздывает людей, внушая им нелепое и ложное убеждение, что каждый из нас — «начало и конец» мира, «единственный», и самый лучший, и ценнейший. В этой самооценке особенно ярко выражено влияние личной собственности: соединяя людей только физически и механически для нападения — для эксплуатации слабо вооруженных и безоружных, она по необходимости — по «закону» конкуренции держит каждого из них в состоянии самообороны против «ближнего» собственника и единомышленника. Соединяя мещан внешне — для нападения, собственность внутренне разъединяет их для самообороны друг от друга, ибо — каждый «сам за себя», и этим создается действительно волчья жизнь. Пословица «человек человеку — волк» создана именно моралью собственников.

Зоологический индивидуализм — болезнь, которой заразила весь мир буржуазия и от которой она, — как мы видим, — погибает. Разумеется, чем скорее она погибнет — тем лучше для трудового народа земли. В его силе и воле — ускорить эту гибель.

Для молодого советского писателя мещанство — материал трудный и опасный своей способностью заражать, отравлять. Молодой, «начинающий» наш писатель не наблюдал мещан в «силе и славе», недавнее прошлое мещанства знает только по книжкам и — плохо, тревожная, разлагающаяся и больная жизнь европейской буржуазии мало известна ему и тоже только по книжкам, по газетам. В его стране сущест-

вуют еще многочисленные остатки разрушенного мещанства, они более или менее ловко притворяются «социальными животными», проползают даже в среду коммунистов, защищают свое «я» всею силою хитрости, лицемерия, лжи, — силой, унаследованной ими из многовекового прошлого. Они сознательно и бессознательно саботируют, лентяйничают, шкурничают, из их среды выходят бракоделы, вредители, шпионы и предатели.

Об этих остатках вышвырнутого из нашей страны человеческого хлама у нас написано и пишется довольно много книг, но почти все эти книги недостаточно сильны, очень поверхностно и тускловато изображают врага. Основанные на «частных случаях», они носят характер анекдотический, в них не чувствуется «историзма», необходимого в художественном произведении, и социалистически воспитательное значение этих книг — очень не высоко. Разумеется, за 15 лет не создашь Мольеров и Бальзаков, не напишешь автора «Ревизора» или «Господ Головлевых», но в стране, где за эти годы энергия рабочего класса построила новые города, гигантские фабрики, изменяет физическую географию земли своей, соединяя моря каналами, орошая и заселяя пустыни, изумительно обогащая государство бесчисленными открытиями сокровищ в недрах земли, в стране, где рабочий класс выдвинул из своей среды сотни изобретателей, десятки крупнейших работников науки, где он ежегодно вводит в жизнь почти полмиллиона молодежи, получающей высшее образование, — в этой стране можно предъявить высокие требования к литературе.

В ней — молодой литературе — уже немало

весьма ценных формальных достижений, ее охват действительности становится всё шире, — естественно желать, чтоб он был глубже. Он и будет глубже, если молодые литераторы поймут необходимость для них учиться, расширять свои знания, развивать свою познавательную способность, изучать технику избранного ими глубоко важного и ответственного революционного дела.

Подчиняясь притяжению двух сил истории — мещанского прошлого и социалистического будущего, — люди заметно колеблются: эмоциональное начало тянет к прошлому, интеллектуальное — к будущему. Много и громко кричат, но — не чувствуется спокойной уверенности в том, что решительно и твердо избран вполне определенный путь, хотя он — достаточно указан историей.

Обанкротившийся, одряхлевший индивидуализм всё еще живет и действует, проявляясь в фактах мещанского честолюбия, в стремлении поскорее выскочить вперед, на заметное место, в работе «напоказ», неискренней, неряшливой, компрометирующей пролетариат, и, особенно, — в работе «по линии наименьшего сопротивления». В литературе это — линия критического отношения к прошлому. Как уже сказано выше, отвратительное лицо его знакомо молодым литераторам поверхностно и теоретически. Легкость критического изображения прошлого отвлекает авторов в сторону от необходимости изображать грандиозные явления и процессы настоящего.

У молодых авторов еще нет достаточно мощных сил для того, чтобы внушить читателю ненависть к прошлому. И, потому, они не столько

отталкивают читателя от прошлого, как — на мой взгляд, — непрерывно упоминая о прошлом, укрепляют — фиксируют, консервируют — его в памяти читателя.

Для того, чтоб ядовитая каторжная мерзость прошлого была хорошо освещена и понята, — необходимо развить в себе умение смотреть на него с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего. Эта высокая точка зрения должна и будет возбуждать тот гордый, радостный пафос, который придаст нашей литературе новый тон, поможет ей создать новые формы, создаст необходимое нам новое направление — социалистический реализм, который — само собою разумеется — может быть создан только на фактах социалистического опыта.

Мы живем в счастливой стране, где есть кого любить и уважать. У нас любовь к человеку должна возникнуть — и возникнет — из чувства удивления пред его творческой энергией, из взаимного уважения людей к их безграничной, трудовой коллективной силе, создающей социалистические формы жизни, из любви к партии, которая является вождем трудового народа всей страны и учителем пролетариев всех стран.

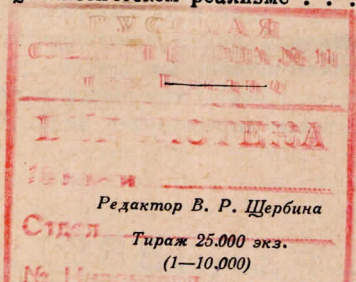
— EX LIBRIS —
Biblioteki Kuratorium O.S.B.
w Białymstoku

Centrum Białystok
przy K.O.S.B.
w Białymstoku

1115

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительная статья	5
I. Из истории русской литературы	
1) Введение. О литературе	21
2) А. С. Пушкин	27
3) М. Ю. Лермонтов	56
4) А. И. Герцен. „Драма русского барства“	68
5) Т. Г. Шевченко	75
6) И. С. Тургенев	78
7) М. Е. Щедрин	97
II. Л. Н. Толстой	104
III. А. П. Чехов	169
IV. В. Г. Короленко	194
V. О том, как я учился писать	220
VI. Беседа с молодыми	266
VII. О социалистическом реализме	297



Подписано к печати 15/I 1941 г. АЗ5187. Печ. лис. 9⁵/₈.
 Авт. лис. 11,5. В печ. лист. 48,536 зн.

Цена в переплете 4 руб.

Набрано в 17-й ф-ке нац. книги ОГИЗа треста „Полиграф-
 книга“. Москва, Шлюзовая наб., 10. Отпечатано с матриц
 в тип. им. Воровского Госпланиздата. Калуга, ул. Ленина, 88
 Зак. 20.